



**МАРИЯ
СЕМЁНОВА**

БРЯТЯ

**Книга 2
ЦАРСКИЙ ВИТЯЗЬ
Том 1**

Волкодав и его мир

Мария Семёнова

Царский витязь. Том 1

«Азбука-Аттикус»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Семёнова М. В.

Царский витязь. Том 1 / М. В. Семёнова — «Азбука-Аттикус»,
2018 — (Волкодав и его мир)

ISBN 978-5-389-14918-2

Беда наслала на землю вечную зиму и оставила много сирот, родства не помнящих. Киян-море вздыбилось и смело города Андархайны. Чертоги вождей спрятались в глубине, согретой теплом земных недр, беднота осталась мёрзнуть на поверхности. Настали тяжкие времена, обильные скорбью утрат... Минули годы после Беды. В чужой семье, в глухой деревушке вырос чудом спасённый царевич Светел, наследник некогда могущественной империи. И когда ему сравнялось пятнадцать, решил искать доли в воинской дружине, чтобы найти и спасти любимого старшего брата Сквару. Его насильно увели из семьи мораничи, и с тех пор родные ничего не слышали о нём. «Я обрёкся родительского сына в дом вернуть. За то, что вырастили, хоть так отдарить...» — думает Светел. Но что, если его долг совсем в другом? Да и узнает ли он брата? Ныне Сквара, что чёрный ворон, невидим в темноте...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-14918-2

© Семёнова М. В., 2018
© Азбука-Аттикус, 2018

Содержание

Начин	7
Разбойное корыто	7
Доля первая	14
Облыжный узел	14
Заступница	21
Второй день Беды	24
В Торожиху	28
За любушку	32
Новая подруга	37
Ристалище	42
Жало	49
Крыло	53
Чужая недоля	58
Божья огнивенка	63
Отъезд из Невдахи	66
Личник	72
Ветка рябины	81
Витязи	85
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Мария Семёнова

Царский витязь. Том 1

© М. Семёнова, 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

* * *

Автор сердечно благодарит:

Валентину Андрианову
Василия Семёнова
Виктора Краснова
Юрия Соколова
Павла Молитвина
Юлию Зачёсову
Саву и Ружицу Росич
Аллу Земцову
Ольгу Кадикину
Павла Калмыкова
Светлану Лаврову
Максима Герасимова
Фезулаха Велиханова
Хаджимурада Малаева
Александра Урбанского
Юрия «Барса»
Александра Прозорова
Татьяну Купреянову
Алексея Мехнецова
Александра Теплова
Игоря Крашенинникова
Елену Буданову
Евгения Голынского
Алексея Богомолова
Елизавету и Константина Кульчицких
Татьяну и Вячеслава Маркеловых
Феликса Разумовского
Дмитрия Кукушкина
Алексея Лыгина
Рустама Гасанова
Анатолия Кутузова
Дениса, Алёну, Наталью и Марию Васильевых
Павла и Ладу Шмырёвых
Елену, Николая и Вячеслава Темруков
Сергея Медведева
Максима Хорошковатого
Марину Махорину
Николая Барабанщикова

Алексея Бокатова
Галину и Максима Ващуков

Начин

Разбойное корыто

Всего на третий день пути Бакуня Дегтярь сломал лыжу.

Только что снялись со стоянки, только что впереди начала являть себя Огарок-скала, а за ней, сквозь морозную дымку, – каменные стремнины Кижной гряды... И на тебе пожалуй!

Вроде ведь ничего такого не делал. Не карабкался по торосам, испытывая крепость снегоступа опорой лишь на носок да на пятку. Не сползал с косогора, насилуя боковины и путца. Всего-навсего тропил, привычно прокладывая стезю упряжным оботурам. Даже морозная настылъ была не самая жестокая. Не щерилась ледяными ножами, не грызла кожаную заплётку. Лишь тонко звякала, послушно уступая нажиму. И вдруг... Бакуня даже не услышал, как хрустнуло. Посреди очередного шага ремни под левым валенком просто обмякли, не давая опоры. Дегтярь остановился, выпростал ногу из россыпей скатного серебряного бисера. Так и есть! Деревянный обод переломился, как гнилью траченный, да по обе стороны разом. А ведь берёг, просушивал, маслил...

Делать нечего, охромевший и недовольный Бакуня соспустил в сторону. Пропустил сменщика, оботуров-дорожников, потом сани.

– Левая? – присмотрелся с козел молодой Коптелка. Одна нога у парня была деревянная по колено, вроде дома сидеть, но дорога не дорога была бы без его прибауток. Он и теперь проказливо улыбнулся, вспомнив приметку: – Смотри, батюшка торгован, кабы у хозяйшки в разлуке терпение не иссякло...

Слышавшие с готовностью засмеялись.

– Цыц, пустомели! – больше для виду рявкнул Бакуня. Сам не выдержал, заулыбался. С супругой Удесой он прожил в согласии двадцать два года. Кому верить, если не ей. Уж она дом рукавами не растрясёт, чести мужниной не уронит!

Только ребятам хоть кол на голове затеши. Которую весну выбирался с ними Бакуня на бойкие купилища Левобережья – а молодцы всё пошучивали о большаке и большухе. Иные сами успели жениться, над ними, вестимо, тоже трунили. Однако галухи по поводу хозяев были самыми старыми, памятными, любимыми.

Покидая свой зеленец, Бакуня неизменно ждал, когда начнутся потешки. Дождавшись – облегчённо переводил дух. Смеются – значит отходят от домашней тоски, вработываются в походную жизнь.

Нынче лихословы отважились помянуть даже меньшую Бакуничну.

– А то кабы Аюшка не забыла святой воли родительской, мила дружка не приветила. Да вперегон старшей сестрице... – запустил ломким, почти мальчишеским голосом всё тот же Коптелка.

Работники постарше цыкнули на болтуна. Как люди говорят: шути, да оглядывайся.

Передние сани без натуги двигались проторённым путём. Тяга ли двум по-зимнему косматым быкам жилой оболочкой с одеялами и припасом! Бакуня шагнул в полозновицу, догнал, подсел сзади. Неторопливо отвязал поломанный снегоступ. Присмотрелся, досадливо качнул головой. Обод, похоже, отслужил. Так сломался, что в дороге толком и не поправишь. Разве от большого горя палками надвязать. Дома можно бы склеить, но веры ему, склеенному, как луку надломленному.

«Отгадывает, поглядим. Заплётка ещё может в дело сгодиться...»

Сколько лет полной чашей был его дом, а бережливая привычка держалась.

Бакуня по пояс влез в оболочку, ощупью добыл лапку для смены, но сразу обуваться не стал. Задержался, покаясь на озадке саней, с удовольствием глядя, как покидают след кованые полозья, как дышит густым паром вторая упряжка. Задние сани были знатно нагружены. Под широкой полстиной опрятными рядами выпирали бочонки, маленькие и побольше. Все – туго заколоченные, но запах земляного дёгтя не ведал преград. Кому – смрад злолутый. Кому – сегодняшнее достояние, завтрашние прибыли.

И даже небывалая, всему Левобережью на удивление, долюшка для старшей дочери, Чаяны...

Смех вспомнить теперь, как померкли они с Удесой, обнаружив, что вода в доставшемся ключище оказалась мутная и вонючая. Где ж сразу догадаться, что кручина – вроде ореха: тверда скорлупа, да внутри – хмельная сладость удачи.

Когда это было! Вот уж двенадцать лет промелькнуло.

«А не тот я стал... Ох, не тот. Отяжелел», – вдруг понял Бакуня, схватившись, что слишком засиделся на санях. Раньше небось переобулся бы на ходу. Да не сидя, как теперь, даже не на корточки опустившись, – лихо, ухарски изломив гибкую поясницу.

«Ещё не хватало, чтоб люди заметили...»

Нахмурился, быстро затянул путца, спрыгнул, сяжисто побежал в голову поезда.

Чтоб саням добавить прыти,
Девочек вывезем в корыте! –

задавала шаг нагальная песня. Коптелка запевал, ребята подтягивали.

Сани белы лебеди,
На дорогу выводи,
Ползут, ползут,
Двинули!

Сменщик, уже начавший отдуваться, обрадованно свалился назад. Он, как и хозяин, успел шагнуть в пятый десяток.

– Пенькова дела снегоступы в Торожихе куплю, – сказал Бакуня. – Кстати, и сведаю, вправду ли так хороши, как бают про них.

Работник поправил меховую рожу, неуверенно отозвался:

– Так помер он вроде, Пенёк-то... Года три или четыре тому. Дикомыты же! В стеношном бою зашибли, и не очнулся.

«Куда еду...» – далеко не впервые ужаснулся про себя Дегтярь, но вслух сказал:

– А я слышал, сынишка Пеньков ремесло успел перенять. Сам ещё титьку мамкину не забыл, а лыжи источит шаговитей отцовских.

Обозник пожал плечами:

– Ты, хозяйнушка, уж как хочешь, а только небылое это дело, чтобы мальчика источником называли.

Бакуня выпрямился, разгладил русую бороду, весело подмигнул:

– А бывшее дело, чтобы простые острожане с праведной семьёй своились?

Возражать стало нечего. Молодцы опять взялись смеяться. Спорщик покаянно развёл руками:

– Истинно люди глаголют, миновалось прежнее царство. Новое настаёт.

Беда положила начало цепи Бакуниных горестей и удач. Он в то время только отстроился, только начал жить своим очагом. Плάνувший с неба огонь его не задел, хотя родительский двор

в Истомище, многолюдный и крепкий, просто исчез. Потом всё начало замерзать. Люди неволей переселялись к горячим источникам. Бакуня разведаль добрый кипун, но дорожку перебил расторопный сосед. Андарх Лигуй по прозвищу Голец.

«Ступай себе, – сказал он Бакуне. Позади хозяина стояли ражие ухо-парни, удалыцы не выдавцы. – С этого ключища моей-то чади вполсыта жить. Поближе к холмам другой зеленец есть...»

Делать нечего, Бакуня утёрся. Хотя на ключах Порудницы два двора как раз поместились бы. С андархами в Левобережье спорить было не принято...

А обещанный Лигуем зеленец вправду теплился на полпути до холмов. Такой, что впору показалось заплакать. Несколько провалов с мутной водой, булькавшей масляными пузырями. Водича горчила, смердела, умаешься кипятить на питьё... Ладно, по крайней мере, здесь не морозило. Бакуня засучил рукава. Собрал к себе отцову дворню. Всех уцелевших. По бревну перетащил дом...

Теперь он не знал, которых Богов отдаривать за везение.

Земляной дёготь, точившийся в глубине ям, прекрасно горел. В умелых руках ещё и целил язвы, причинённые покусками стужи. Довольно скоро Бакуня заложил в Ямищах промысел. Начал выбираться к ближним соседям, менять горючую смолу на зелень и рыбу. Позже прослышал, сколько Лигуй дерёт на купилище за его дёготь. В сердцах метнул шапку оземь, стал ездить сам.

Когда старшенькую, Чаяну, ребятня с торжеством провезла кругом зеленца, а мать вплела ей в косу цветную ленту, Лигуй заслал сватов. У него, как и у Бакуни, мужал под рукой толковый наглядыйш. Звался Порейкой.

«Сговорена уже Чаяна», – ответил Дегтарь.

«Да за кого успел?..»

Голец чуть зубами не скрипел от досады.

«Ступай себе, – сказал Бакуня. – Других девок полно...»

Беда оставила немало сирот. Иные, кого она застигла ещё в пелёнках, даже родства не помнили. Двоих таких мальчишек Бакуня вырастил у себя. Глядя, как поднимаются Угляр и Коптелка, временами жалел, что сразу не засыновил. Временами, наоборот, подумывал обоих приютить, окружить с ними дочерей.

Хорошо, что не поторопился. Вмешалась судьба, всё расставила по местам...

– Куда едем-то, а, большак?.. – задорно окликнул с козел Коптелка. – Куда деток несмышлёных на погибель ведёшь?..

– Ори громче, – посоветовал вечно хмурый Угляр. – Накликаешь! Ты, батюшка, не бери его другой раз.

Коптелка звонко расхохотался. Уж этой грозы ему не надо было бояться. Оботуры никого так не слушали, как его.

– Кишки простудишь, хохотун, – буркнул Угляр.

Левобережники редко высывались за Светынь. Если на то пошло, Бакунины соотчичи и на юг ездили нечасто. Хотя сами себя считали наполовину андархами и с гордостью, в знак давней принадлежности, звались гнездарями. В коренных землях на них всё равно посматривали свысока. Кому охота чувствовать себя правнуком покорённых, вторым разбором среди бывлых победителей?

– Навались, родимые! – весело отвечал хозяйским мыслям Коптелка. – Наддай, Сивушка!

Каково-то покажется за Светыню, где второй разбор превращался в третий... Дикие дикомыты некогда намылили холку завоевателям. Не пустили Ойдриговичей к себе на Коновой Вен, да и всё тут. И как Бакуне разговаривать с ними? Если они гордым андархам, вселявшим в него наследную робость, показали дорожку до самого Шегардая?..

Ну ничего. Знакомыми местами в сотый раз ездить, скучновато жить станет. Иные, как сегдинский Геррик, давно разведали путь за Светынь и теперь что ни весна спешат в Торожиху. Вернувшись, рассказывают про дива и чудеса. Вроде целебных чёрных камней, привозимых на торг из лесных захолустий. Как тут не разгореться глазам!

– Всё ты недоволен, Бакунюшка, – смеялась жена. – Прозвали уже Дегтярём, ещё и Снадобщиком вздумал прослыть на старости лет?

Бакуня в ответ подмигивал:

– Коли нового желаю, стало быть, не вовсе состарился.

Смех смехом, а жилка подрагивала. Остерегала. Тревожно это, когда всё удаётся. Вот ломишься сквозь череду мелких невестреч, и сама собой успокаивается душа: судьба взяла плату. А вот если всё время по ветру мчишься, рождается беспокой. Ну как с разбегу да об телегу?

С таким попечением только дома сидеть, за лавку держаться.

Бакуня подумал о сломанной лыже, улыбнулся.

– Отик... – ластилась к нему младшая дочь, Аюшка. – Привези ты мне, отик, с правого берега валеночки, как там делают: все целиком катаные...

– Не босая ходишь, – строго заметила мать. – Доброго пути отцу пожелай, и будет с тебя.

Аюшка расплакалась:

– Всё ей, Чайне!.. И жених, какого больше не сыскать... и подарки...

В четырнадцать лет хочется разом всего, да прямо сейчас. Год предстаёт вечностью, которой не пережить. Особенно когда родная сестра уже повязывает платочек внахмурочку, готовится укрыть лицо под фатой. Мать напомнила:

– Чайна старшая. Настанет ещё твой черёд.

И верно. Меньшая дочь Дегтяря вряд ли лавку насквозь просидит, сватов дожидаясь. За Кижной грядой обжился давний друг Бакуни, Десибрат Головня. Он с сыном теперь уже складывает в лубяные короба новенькие горшки да тонкие мисы, заботливо ухичивает мхом – везти в Торожиху. Никто не помешает в дороге о детях поговорить. О чём-нибудь сговориться...

Притихшая Аюшка до самого леса шла за санями вместе с матерью и сестрой. Обняла отца напоследок. Долго махала вслед вышитым полотенцем, чтоб дорожка ровной была...

Кижная гряда звалась так испокон веку. Когда осень валилась в зиму и первые хлопья кружились над мокрым лесом, чтобы на завтра же стать, – в холмах снег ложился сразу и прочно. Шеломянный Хозяин копил его до самой весны. Не просто копил. Баловался, скидывал в удолья лавины. Гремящие белые клубы крушили, пугали, сулили вовсе убить. Долина, пересекавшая кряж, гладкая и удобная летом, за такой зимний норов слыла Разбойным корытом. После Беды ездить здесь стало невмоготу. Бакуня и Десибрат поначалу разведали окольную тропку. Год спустя посоветовались, дружно взялись – и выстроили бревенчатые стенки по верху склонов в коварных местах: удерживать снег. А двинется, потечёт – спускать в боковые распадки. Немалая работа была. Впору гордиться.

Шеломянному Хозяину, чтоб не серчал, подарили целого оботура. Однако Хозяин оказался жаден невмерно. В плату за отнятую забаву понадобилась ему ещё Коптелкина нога, раздавленная валуном. Камень, покалечивший парня, до сих пор торчал из-под снега. Проезжая мимо, Коптелка неизменно грозил ему кулаком.

Зато Разбойное корыто ныне считалось самым простым и спокойным локтем дороги на север. К чему сам приложил руки – не подведёт.

У Огарок-скалы сделали недолгую остановку. Перепрягли оботуров. Тех, что пыхтели в гружёных санях, поменяли с дорожниками. Хоть и безопасными стали Кíжи, всё лучше побыстрей миновать.

Пока работники развязывали и вновь завязывали ремни, Бакуня подошёл к подножью утёса. Задрал голову, посмотрел вверх.

Прежде Беды каменный лоб покрывало корявое цепкое мелколесье. Теперь из расщелин торчали обугленные остатки корней. Бакуня сдвинул меховую личину. Снял шапку. Развернул добрые домашние лепёшки. Надкусил одну, положил в обледелую выбоину. Сверху добавил хорошего мороженого шокура.

– Угостись со мной, батюшко, Хозяинушко шеломянный... да уж и пропусти незаказно.

Отошёл, оглянулся. Впадина камня напоминала рот, распахнутый в неистовом крике. Навстречу поезжанам из Разбойного корыта вытягивались тучи, застрявшие на вершинах гряды.

Сменив левую лыжу, Бакуня помимо воли стерёт правую: вдруг тоже сломается.

«Вот доберусь в Торожиху – в самом деле Пенькова сына искать пойду. Гляну, что привёз...»

Купилище злых дикомытов временами лежало прямо за поворотом. Временами – отодвигалось на другой конец света: нипочём не достигнуть.

«Да что ж я за беспокойник такой?»

На первом своём торгу в Андархайне он тоже боялся. И неспроста. Еланным Ржавцем владел царевич Коршак. Восьмого наследника Огненного Трона величали за глаза Жестоканом. Стоя в смоляном ряду, Бакуня со всех сторон слушал жалобы. Торговый народ кряхтел и чесался. Больно тяжкие поборы изволил наложить государь!

Неволей испугаешься, когда подбегает запыхавшийся гонец. Царевич желал видеть Бакуню.

«По заслугам честь! – обрадовался весёлый Коптелка. – Во дворец праведного Аодха тоже не одни красные бояре входили! И ремесленники добрые, и купцы... Меня возьмёшь с собой, батюшка?»

«Всё дурню пестюшки, – тревожно буркнул Угляр. – Вот останется Жестокан подарками недоволен...»

Ох тогда взметался Дегтярь. Ох себя корил! Седина в бороду, а не смекнул, что соглада-таи царевича мигом высмотрели на купилище нового торгована. Хоть кто бы предупредил! Чем же поклониться грозному волостелю?.. Впопыхах нагрузили вместительную ручную тележку. Бочонками вынесли жидкий дёготь для заправки светильников. Малюсенькими горшочками – чистый и плотный, многоценный, целебный.

Бакуня знал: Коршак был очень немолод.

«Столец ему небось подушками умягчают, пищи всё тонкие подают... Почечуем наверняка скорбит, – подсказывал опыт снадобщика. – Где ж ему теперь достать ревеню, тмина, рябины, хотя он и царевич? Как бы изловчиться лекарю посоветовать старца на ведро с дегтярным дымом сажать... да чтобы государь не прогневался, чести своей проносу не усмотрел...»

С трепетом отправлялся он на Коршаков двор. Робея, складывал подношения... не чаял голову на плечах назад унести...

Знал ли, что входит просто Дегтярём из никому не ведомых Ямищ, а выйдет – молвить боязно, свояком Коршаковым... ну почти...

В самом сердце гряды раскинулось помосье – просторная поляна между холмов, удобная для стоянки. Там можно будет снова перепрячь оботуров, поменять сани упряжками. И без того дошли бы до Десибратова зеленца, но свежей силой вывезут побыстрей. Своя земля Разбойное корыто, своими руками огоенная... а всё охота выбраться без задержки. По старой памяти, верно.

Не оттого ли собаки, бегущие у полозьев, знай поглядывают на затянутые туманом вершины, знай нюхают воздух, дыбят на загривках щетину...

«Водворится призяченный, обживётся чуток, надо будет сюда его захватить, – подумал Бакуня. – Да особо не упреждать, что безопасна дорога. Сразу видно станет, каков удалец...»

От мысли о скорой дочкиной свадьбе голова начала легонько кружиться.

Удеса, помнится, тоже испугалась мужниной удачи. Расплакалась:

«Высоко загляделся, Бакунюшка! Мы люди простые, минуй нас гнев царский, а любовь – того пуще...»

«Не заглядывался я, – хмурил брови Дегтярь. – Мысли не держал. Сам позвал меня, сам золотую сваечку к нашему колечку примерять стал!»

Чаяна, доченька, тогда глупа ещё была. Ничего не понимая, на всякий случай цеплялась за мамкин подол, ревела ревмя.

С тех пор много снега на Кизи вывалилось. Подрос жених, наспела невеста. В самый год сговора ушёл к родителям престарелый царевич. Только сговор нерушимо стоял. В праведной семье от слова не пятили.

Удеса себе уж рубаху в две строки вышила, старушечью, после дочкиной свадьбы надеть...

– Слышишь, батюшка большак! – окликнул неугомонный Коптелка. – Не велишь костерок на помощь развести для обогрева? Нога холодом замлела, сил нет!

И гулко притопнул концом деревяшки.

Работники засмеялись.

– А вот бы из фляги глотнуть, из той кожаной...

– Потерпите, – строго молвил Бакуня. – Завтра у Десибрата согреемся.

– Батюшка! А что делать станешь, коли зятёк от нашего дёгтю нос сморщит?

За минувшие годы вроде все жениховы косточки обглодали. Стоило приблизиться свадьбе, взялись заново.

Бакуня сам порой закатывал глаза, пытаясь представить, как начнёт приобщать юного Коршаковича промыслу. «А что? – утешала жена. – Мальчонка пригульной, а всё кровь царская. За что ни возьмётся, споро осилит!»

Дегтярь обмахнул с бороды иней, пряча улыбку:

– Сморщит, возьму тебя с Аюшкой окучу.

Коптелка упал навзничь на козлах, дрыгнул в воздухе обеими ногами, деревянной и в валенке, заголосил:

– Погубили добра молодца-а-а...

Парни дружно захохотали.

Оботуры вскинулись, взревели, все шесть разом поднялись в рысь. Заметались, залаяли, взвыли псы.

Бакуня ещё смеялся, ещё хотел попенять Коптелке за переполох... когда сверху, с мглистых вершин, неожиданно и сильно ударило ветром.

Так сильно, что у Бакуни слетел с головы треух и от внезапного ужаса заledenело нутро.

Мгновением позже начала дрожать земля под ногами.

Оботуры неслись уже не рысью, а метью, взрывая раздвоенными копытами снег. Они разевали пасти, только рёва больше не было слышно. Всё похоронил низкий гром, катившийся по долине.

Этого не могло случиться, но это случилось.

Сразу с обоих склонов Разбойного корыта к обозу тянулись широкие, белые, жадные, обманно-мягкие лапы.

«Стенки-то подпорные... как так, – успел подумать Бакуня. – Сколько лет... Хозяинушко, за что...»

Неодолимая сила снесла, растёрла, скомкала поезжан. В плотном вихре мелькнула бурая шерсть, обломки саней, плеснула чёрная струя из раздавленного бочонка. Бьющийся пёсий хвост, перекошенное в немом крике лицо...

На самом деле это была гибель, конец всем и всему, однако разум не постигал и не подпускал такой мысли. Бесконечные мгновения Бакуня нёсся кувырком, смятый, лишённый какой-либо воли, утративший верх и низ, даже ощущение тела... И всё продолжал жалеть разлившийся дёготь, прикидывал, удастся ли переловить оботуров, починить сани... успел даже представить, как работники его засмеют, выкопав из сугроба...

Жена и дочери, машущие ему со старого поля...

Удар, отправивший в темноту, ему не запомнился.

Когда он снова пошевелился, было очень холодно. А ещё – тихо, тесно, больно, почти темно. Всё тело облекал и сдавливал снег. Густая влага текла по лицу, склеивала ресницы, дышать едва удавалось. Бакуня попробовал двинуться, вырваться, но снег держал крепко. Глаза мало-помалу начали привыкать. Прямо перед носом Дегтярь увидел бревно. Знакомые витки смолёной верёвки, вросшие в лёд. Чуть ниже верёвок – недавний след топора... щепки перьями...

Бакуня тупо раздумывал над этим простым открытием, когда ватную тишину нарушила близкая возня. Дегтярь вновь рванулся, хотел крикнуть, позвать. Не хватило дыхания. Лопата в сильных руках рубила и раскидывала снег. Лезвие ободрало ухо. Изнемогшие лёгкие наполнил живительный воздух. Серый свет, хлынувший в узкий понор, сперва ослепил. Смаргивая слёзы и кровь, беспомощный обозник увидел над собой рыжего парня. Совсем молодого, хмурого, незнакомого.

Долетел крик. Хриплый, страшный.

«Угляк...»

– Пори их, Порейка! – грянуло дурное веселье.

Бакуня всем телом дёрнулся из снежной ловушки, прокаркал:

– Спа... спа... си...

Скрипнули, приблизились шаги, протянулась рука в синем рукаве, хлопнула рыжака по плечу.

– Молодец, Лутошка. Уж что сказать, молодец. Бери силу, заслужил!

Рядом надсадно промычал оботур. Чуть дальше собирали, скатывали в одно место пощажённые лавиной бочонки.

Рыжий просветлел от хвального слова. Снова нахмурился. Бросил лопату. Выдернул из снега копьё. Резко, коротко замахнулся...

Доля первая

Облыжный узел

Город, вросший в скалы высокого морского берега, назывался Выскирег. Коренные андархи толковали его имя как «первый» – конечно, после стольного Фойрега. Не царский, но царственноравный. Такое понимание отдавало пророчеством, ведь именно сюда перебрался верховный почёт Андархайны, уцелевший в Беду. Северные племена, совсем забывшие страх, толмачили название малой столицы со своих языков. Получалось – «место бурелома и пней». В общем, Коряжин.

И это прозвище города несло свою истину.

На самом деле люди здесь жили всегда. Кто-то первым нашёл в каменном обрыве пещеру, выгрызенную водой. Облюбовал для жилья. Под стук молотков, под звон калёных зубил поне-много родился город. Люди ровняли каменные теснины, изрезавшие берег, превращали их в улицы. Бережно направляли выющийся по скалам шиповник, пускали цветущие плети мимо окон, таивших девичьи улыбки. Искусные зодчие превратили величественные скалы в дворцы, мало уступавшие фойрегским. В глубине ущелий муравьиными гнёздами теснились обита-лица простолюдыя. Здесь хлопало на верёвках бельё, ветер нёс крики торговок, очажный дым, запах жареной рыбы... Тёсанные стены грело щедрое солнце, каменные недра отдавали про-хладу, а вечерами в притихших дворах многоголосыми шёпотами бродило эхо прибоя...

Потом солнце погасло за беспросветными тучами, море отступило на десятки вёрст и застыло, а город остался. Зябкий, сумрачный и сырой, ставший против прежнего совсем мало-людным, он всё ещё жил.

* * *

Царевич Эрелис, третий наследник Андархайны, задумчиво рассматривал резьбу на каменных стенах. Чертог, который торжественная речь именовала Правомерной Палатой, а непочтительное просторечье – судебней, воздвигли очень давно. При Гедах Четвёртом. Хоро-мина была частью врезана в тело скалы, частью простиралась открытым небу раскатом. Здесь обитала правда царских законов, жившая в согласии с Правдой Богов. Каменный зев Палаты, обращённый к юго-востоку, венчала надпись: «Царю правда первый слуга». В прежние времена судилище разрешалось творить лишь с рассвета и до полудня: пока внутри глядело солнце. Теперь в Палате даже днём зажигали светильники. Конечно, заправленные самым тонким мас-лом, чтобы не портить копотью драгоценной резьбы.

Стены и потолок судебни сплошь покрывал хитроумный узор. Куда ни глянь, тянулись изваянные в камне верёвки. Толстые канаты и тонкие бичевы. Где свободные, где стянутые узлами. Одни перевои глядели тугими и неприступными, другие, наоборот, были распушены, разрешены, готовы распасться. Творцы Палаты имели в виду ловчую сеть законов: виновных повяжет, невинных – освободит. Поговаривали даже, будто здесь содержалась полная роспись заповедей исконной Правды, но как её прочесть – никто теперь в точности не ведал. Камено-тёсы и кожемяки, глухие к величию старины, чаще сравнивали закон с липкими паутинами: муха увязнет, шмель вырвется.

Эрелис жил в Выскиреге уже скоро год. Он часто ходил наблюдать суд и расправу. Душа не лежала, но куда денешься? Царский венец Андархайны не зря зовут Справедливым. Вот

и гляди, шегардайский наследник, как делят несколько пядей тёплой стены, оспаривают украденное бельё, ложатся под кнут из-за передвинутого колышка на береговой меже.

Сегодня тенёта законов сотрясали крыльями сразу два могучих шмеля. Народу на раскате собралось заметно больше обычного. И во главе суда сидел не какой-нибудь скромный сановник. Сегодня рядил и приговаривал сам владыка Хадуг, второй сын державы.

– Смотри внимательней, государь, – шепнул Невлин, по обыкновению стоявший за плечом у воспитанника. – Сегодня тебе надлежит многому научиться!

Эрелис вздохнул, давя тёмную тоску. Чему другому, а терпению он сегодня обучится наверняка. Пальцы двигались сами собой, перебирая облачно-серую шелковистую шёрстку. Любимица, безразличная к людским страстям, шурила сапфировые глаза. Иногда Эрелису хотелось поменяться с кошкой местами.

Невлин шепнул ещё:

– Скоро ты сам начнёшь творить суд, государь. Перенимай же искусство взывать к познаниям райцы, чтобы каждое слово решения шло об руку со словом закона!

Тёплый охабень владыки искрился старинной парчой, стекая с престола тысячей золотых складок. У Хадуга было сурово-красивое, худое лицо, исполненное царской породы. Вот он повёл бровью, кивнул законознателю. Советник-райца, скромно стоявший у ступеней престола, отдал разрешение дальше – правителю судебного обряда. И уж тот гроыхнул увитым бубенцами жезлом:

– Кланяйтесь четвёртому сыну Андархайны! Поборнику доблести, осрамителю нечестия, Мечу Державы, царевичу Гайдияру!

Обрядоправитель Фирин, с его голосом, достойным полководца или жреца, был плюгавой спицей в колесе власти, но полагал, что без него это колесо лишилось бы вращения. Острые на язык горожане давно переименовали его имя, заглазно прозвав жезленика Пырином. Набатные отзвуки ещё гудели в Палате, когда по влажному камню прошлёпали толстые кожаные подошвы. Люди раздались улицей – во главе десятка порядчиков вошёл Гайдияр. Воевода городской расправы. Статный, широкоплечий, в красно-белом плаще. С пернатым шлемом на руке, при мече и кольчуге.

Он отдал Хадугу короткий воинский поклон:

– Яви правый суд, государь! К твоей заступе прибегаю! Взывает кровь неотмщённая!..

...Кто бы мог ждать, что самый первый ответ на это возглашение раздастся извне. Громкое, непристойное «Ау-у-у!..» кота, алчущего подруги. Прозвучало так кстати, что народ не удержался от смешков.

Томная красавица на хозяйских коленях встrepенулась, издала ответный призыв и... выставила огузье, обратив его прямо на Гайдияра. Смущённый Эрелис торопливо подхватил кошку.

Взгляд великого порядчика быстро стёр с лиц ухмылки. Вновь стало слышно, как с чела судебни падали капли. Речи Гайдияра нечасто раздавались в Палате, разве что брань, если недовольные начинали буянить. А уж с места истца этот голос не звучал доселе ни разу.

– Кто посмел обидеть тебя, младший брат? – пытаюсь не шепелявить, спросил царевич Хадуг.

Прежде Беды он числился шестым в лестнице и всю жизнь праздновал, не помышляя о троне. Он сидел нахохлившись, расписным веером прикрывал рот, лишённый двух передних зубов.

Гайдияр зычно ответил:

– Вот злодей! На нём кровь твоего слуги, моего отрока!

Воины расступились. Бросили на гладкие плиты крепко связанного человека. Лохматого, ободранного, избитого – поди пойми, стар или молод. Он завозился, пытаюсь хоть повернуться. Его взяли за ворот тельницы, лоскут остался в руке. Ругнулись, подняли за верёвки, поставили,

шаткого, на колени. Злодей приподнял лицо, сплошь в кровавой коросте, глянул одним глазом: второй безнадежно заплыл. Вздохнул, облизнул разбитые губы, грустно уставился в пол.

Райца владыки подошёл к вязню, тяжело опёрся на палку:

– Чей будешь, шатун?

Русая голова шевельнулась.

– Утешкой... рекусь... сыном Скалиным.

На раскате, где моросил дождь, произошло движение. Всхлипнул женский голос, повелительно и недовольно буркнул мужской. И вновь стало тихо, лишь непочтительно, гнусаво перекликались коты. Кто-то шикнул, покатился пущенный камень.

Райца посмотрел на владыку, кивнул обрядоправителю. Тот напырился, приподнялся на носки, ударил жезлом:

– Левашника Кокуру Скало сюда!

Толпа опять раздалась. Ближе к свету придвинулся середович в хорошем суконнике. Гневный, красный лицом. Следом семенила заплаканная жена. То тянулась вперёд, то пряталась за спину супруга. Молодой пасынок держался позади, торопливо сворачивал большую рогожу.

Вся семья повалилась на колени, земно кланяясь правящему царевичу Выскирега.

Хадуг милостиво кивнул:

– Встань, добрый Кокура. Мы привыкли похваливать твои лакомства и никак не чаяли увидеть тебя в этой палате... Что скажешь?

Мужчина послушно встал. Поклонился уже малым обычаем. Дородство мешало коснуться пола рукой, но шапка по камню всё же мазнула.

– Не вели казнить, праведный государь. Так скажу: за подворника этого я не ответен. Не знаю и знать его не хочу!

Вязень всхлипнул, качнулся. Женщина скорчилась на полу, еле слышно завывала.

Хадуг склонил голову на сторону:

– Ответчик иное бает. Сыном твоим сказывается.

Кокура твёрдо ответил:

– Мало ли кто кем сказывается, государь!

Люди сдержанно зашумели. Беда разметала немало знатных семей. В первые годы наследники сыскивались что ни день: вместо одного пропавшего по десятку. Ныне бесстыдный промысел почти прекратился, но, похоже, не насовсем.

Кокуру-лакомщика, прозванного завистниками Кока-с-соком, знал весь Выскирег. Какие постилы выходили из его печей! Толстые, взбитые, на яйцах, успевай пальцы облизывать! Третьего дня в сладную лавку явился чуженин, потребовал хозяина, объявился его сыном Утешкой.

– Счастье-то! – обрадовались жалостливые.

– Ещё один сынок самочинный, – усмехнулись неверчивые.

Кокура мнимого отпрыска не пустил дальше порога. Велел убираться, отколе пришёл. И теперь с твёрдостью повторил:

– Не прогневайся, твоя царская милость. Рожное детище у меня Беда забрала. Приёмное, на радость воспитанное, за спиной стоит. Иных нету!

Эрелис приглядывался к лакомщице. Баба не поднималась с колен, не разгибала спины. Марала по полу расшитую кикю, тихо постукивала кулачком. Хотела перечить мужу и не решалась. Эрелис отвёл глаза. Телесные клёймы велись только в праведной семье. И то – до седьмых наследников, не далее. Откуда взять родовые улики сыну ремесленника? Матежи – родинки приметные – показать?

Хадуг повернулся к воеводе порядчиков:

– А ты что скажешь нам, младший брат?

Гайдияру, прежде одиннадцатому в лестнице, не досталось царского имени. Лишь храбрость и стать, достойные величия предков. Некоторое время назад на него возложили было надежду, стали выбирать тронное рекло... Эрелиса, так некстати обрётённого, Гайдияр до сих пор считал самозванцем.

Он ответил по-воински немногословно:

– Что скажу, государь... Кровь невинная из земли вопиёт, жжёт руки злодейские!

Хадуг милостиво кивнул. Видоков было в достатке. Отвергнутый Утешка поплёлся заливать горе. На шум, сотрясавший кружало, примчались Гайдияровы молодцы. Бросились раскидывать свалку. Когда всё успокоилось, на полу остались лежать двое. Крепко ошеломлённый Утешка – и отрок в накидке порядчика. С Утешкиным поясным ножичком в горле.

– Мой щит носил, – сказал Гайдияр. – Моим чадом звался. Ради него справедливости доискаться хочу, родич и государь!

– Расправа на именитого хозяина поднялась, – тихо пересуживал народец.

– Порядчики против порядочного встают.

– Что-то будет!

Вдоль стены бочком пробрался седой, рассеянно улыбающийся человек.

– Утро доброе, Машкара, – приветствовали городского чудака выскирегцы. – Неужто до сих пор не нашёл?

Он развёл руками: пока не нашёл, но надежды не оставляю. Встал поближе к светильнику. Начал вглядываться в извѣянные узлы, отслеживать пальцем ход сплетавшихся ужищ. Про него тут же забыли.

– А ничего не будет. Откупится Кокура.

– Бездельное молвишь. От чего ему откупаться?

– Так вроде сын напрокудил...

– Сказал же, не ведает его и ведать не хочет!

Машкара вытащил из поясного кармашка непочатую цѣру. Принялся чертить по гладкому воску, срисовывать полюбившийся узел.

– К Утешке этому присмотреться бы. Вдруг правда сын.

– Ты, что ли, присматриваться собрался? Своих перечти!

– Мать спросили бы...

– Кокуре чужак без надобности. Помощника справного выхолил, а это кто? Подворник и есть. Скита́ла бездельный. Только нажитое губить.

– Такого прими, а он лихой рукой...

Хадуг сел поудобнее. Взял кружку, окунул нос в завитки горячего пара...

В этот миг случилось непоправимое. С раската донёлся кошачий призыв, звеневший такой мощью и страстью, что наследница благородных кровей растеряла остатки достоинства. Вывернулась из-под хозяйской руки, только хвост мелькнул! Шастнула между сапогами порядчиков. Саданула когтями слишком проворную пятерню. Эрелис дёрнулся было с кресла, но жѣсткие пальцы Невлина впились в плечо. Шегарда́йский царевич остался сидеть, красный, взмокший, пристыженный.

Ликующее многоголосое «Ау-у-у!» взорвалось драчливым бесчинием, укатилось за пределы раската...

Хадуг спрятал усмешку в вороте охабня. Кивнул райце. Советник подошёл, остановился против ответчика:

– Как очищаться будешь, безродный?

Вязень дёрнул спутанными руками, прошамкал:

– Не без роду я, добрый господин... в людях рекусь...

Царедворец, суровый, бесстрастный, покачал головой:

– Не о том спрашиваю. Как правиться будешь?

– Как берёста на огне, – зарычал Гайдияр.

Вязень, жалкий, втянул голову в плечи.

– Твой нож был?

– Мой, господин... а порезал не я! Не я!..

– Видали сиротку, – скривил губы четвёртый царевич. – Спяну бить – удалец, самого побили – младенец безвинный!

Пламя светильников начало казаться Эрелису слишком ярким. Он сощурился, нашёл взглядом седовласого чудака. Любитель узлов пропускал накалённые голоса мимо ушей. Вглядываясь, подправлял рисунок, снятый на церу...

Поговаривали, будто сплетения древней сети таили облыжный узел. В камне вырезать можно, а из верёвки не совьёшь. Кто сыщёт его – поймёт великую тайну. Люди на годы увлекались поисками, отчаивались, сходили с ума. Машкара был из числа самых упорных.

Советник обернулся к судье, тяжело опёрся на палку.

– Государь, – начал он с поклоном. – Твой достойный брат уже взял на допрос всех бывших о ту пору в кружале. Я был бы рад огласить имя убийцы, но каждый из этих людей клялся именем Справедливо Казнящей, что видел очень немного. Скажи нам, следует ли привести их на пытку для подтверждения клятв?

Народ зашумел.

– При Аодхе своих на дыбу не поднимали, чтоб пришлого обелить...

– При добром Аодхе, если правды не дознавались, самого убитого виноватили. Всё лучше, чем распря.

– Убиенный ведь сирота был? Вот и дело с концом.

– Сирота, сирота, а кому служил!

– Гайдияр не смирится...

– Теперь, значит, доброму человеку в кружале не погулять?

– Опять кого спяну убьют, а притомных на пытку?

– Ответчика вздёрнуть да покрепче тряхнуть!

– Не убивал я, – потерянно бормотал вязень. – Не убивал...

Старик Невлин привстал со скамеечки, поставленной, ради уважения к его летам, за креслом Эрелиса.

– Если бы ответчик привёл родню, несущую честное имя, добрая слава семьи могла бы его защитить, – на ухо пояснил он царевичу. – Люди согласились бы, что от сына достойного отца стоит ждать правды. Увы, этому юноше нечем подтвердить ни своё родство, ни свою невиновность.

Эрелис так же тихо отмолвил:

– Почему государь не прикажет расспросить мать? Думается, она лучше всех поняла, сын пришёл или нет.

Где-то за раскатом, уже далеко, снова взвыли коты. Дрались за царицу.

– Жена следует воле мужа, – сказал Невлин. – Если муж по своему разумению ограждает дом, выстроенный его трудом и упорством, добрая жена может только смириться. Тут никому встравать не рука.

– Даже для спасения жизни?

– Мой государь... Былые наставники приучили тебя следовать чести и благородству. Ныне ты подошёл к науке правления, а она таит немало скорбей. Ты исполнился горечи, видя, как домохозяин отказывается укрыть незнакомца, ибо хранит свой дом от разлада. Представь же, чем иногда обрекается жертвовать правитель страны!

Эрелис упрямо пробормотал:

– Люди, знавшие моего отца, удостоверяют, как он боялся осудить на смерть без вины...

Царевич Хадуг поставил кружку. Разговоры немедленно стихли.

– Итак, – прошепелявил владыка. – Блюдя город, наш брат Гайдияр потерял смелого отрока, своего названного сына. Тяжкие улики указывают на шатущего человека, пойманного порядчиками, и, боюсь, другой истины нам уже не найти. Наш брат прав: кровь вызывает к отмщению. Закон, живущий в этом чертоге, строгой мерой отмеривает убийцам. Однако превыше законов сияет правда милостивого правления, завещанная отцами. Нам следует оберегать всякую жизнь... особенно во времена, без того обильные скорбью утрат. Я ещё раз обращаю к тебе слово, добрый Кокура. Хочешь ли ты выкупить этого человека, чтобы взять его в дом?

Все обернулись к лакомщику. Оторвала голову от пола жена. Загорелся надеждой уцелевший глаз вязня...

Но Кока-с-соком был из тех гордецов, что не меняют решений. Даже тех, о которых, быть может, сами жалеют. Он твёрдо повторил:

– Нет, государь. Не знал я его никогда и знать не хочу.

Царевич помрачнел, спрятал руки в уютные рукава.

– Ума Скало не нажил! – долетело с раската.

– Сперва выяснил бы dokonно, родной или нет. Вдруг всё-таки сын?

– А нет, после бы выставил потихоньку.

– Теперь вовек не узнает.

– Мать, бедная, глаза выплакала...

– Молодец, Кокура. Не захотел постилы во дворец до смерти таскать на выкуп бездельнику!

Эрелис разглядывал резную сеть, обьявшую стены и потолок. Шмель прорвётся, муха застрянет...

Невлин вновь подал голос у него за плечом:

– Внемли, государь. Сейчас наш владыка произнесёт приговор. Отметил ли ты, как он разъяснил дело? Благородному Цепиру осталось лишь заглянуть в свою память, хранящую всю премудрость судебников. Ему нет нужды листать бессчётные книги, он и так помнит, как послужило истине то или иное уложение твоих праотцов. Скоро и у тебя будет свой райца, чтобы опираться на его знания, верша правый суд...

Хадуг выпростал руки. Потёр переносицу – и действительно обратился к советнику:

– Я хочу услышать твою правду, Цепир. Что советует нам закон?

Хромой царедворец ответил незамедлительно и бесстрастно:

– По вконанью Гедаха, четвёртого этого имени, обличённого злодея следует приговорить к покаянию над волнами.

– Быть по сему.

Напряжённо слушавший народ охнул, заволновался, заговорил. Лакомщица тоненько завизжала. Утешка, малосведущий в обычае Выскирега, начал оглядываться, криво, неуверенно улыбнулся...

Гайдияр ткнул его сапогом в спину, свалил.

– Успеешь наулыбаться, засудок! – Поднял голову, деловито спросил: – На ком судебную продажу велишь доправлять, старший брат? С безыменки этого взять нечего.

Хадуг снова спрятал руки в тепло.

– Рассудим так, – проговорил он. – Мы истратили время на ничтожного бродягу, поправшего закон Андархайны. В Выскиреге он пришлый, но не вовсе чужой. Он как-никак искал здесь отца. – Перст царевича указал на вздрогнувшего Кокуру, в голосе прозвенело отчётливое злорадство. – Вот человек, в чьи двери он постучал! Если бы лакомщик, услаждающий нас заедками, по-доброму принял мнимого сына, не выпил бы тот в кружале мёртвую чашу. В назидание обрекаем Кокуру Скало с чадами и домочадцами быть притомными на всё время казни!

Сластник аж пошатнулся. Куда подевалась упрямая гордость! Кокура начал оседать на колени:

– Государь... надёжа-государь, милостивец... любой побор наложи, только откупиться вели...

Раскат сдержанно загудел.

– Стало быть, всякий бродень стукнет в ворота, а ты его принимай?

– Правски судит царевич!

– К ним тоже домогателей сполна приходило.

– Мать жалко...

– Одних Аодхов без счёта, и ни одного путного.

– Эрелис вон явился из дикоземья, с долгих скитаний. Приняли же!

– Лучше накормить да наутро путь показать, чем с порога в тычки.

– Если Скалиха сына признала, почто молчит?

– Мужа трепещет. Грозен Кокура, на руку скор...

– Хороша мать! Себя жалеет паче сына родного!

Хадуг с усмешкой смотрел на бледного Кокуру:

– Ты не дал нам помиловать грешника, заплатив за его жизнь, но готов откупиться, чтобы его смерти не видеть? Что ж, мы это позволим. Правдивый Цепир назначит пошлину, надлежащую нам за нынешний суд. Я, Хадуг, второй сын Андархайны, так решил и так возглашаю.

Имя, произнесённое вслух, скрепило окончательность приговора. Два воина просунули Утешке под локти ратовище копьа, подняли, поволокли. Он скользил ногами по камню, растерянно озирался...

Заступница

Когда разразилась Беда, обезумевший Киян превратился в чёрную стену. Взвился под облака, ударил на сушу. Там, где прошла чудовищная волна, земля утратила облик. Пустоши на месте холмов, сметённые города, заваленные озёра... Царственноравный Выскирег спасли острова. Закрыли собой, как воины полководца. Страшный приступ искалечил их, выпотрошил, разметал. Прежде они красовались, обрамляя судоходную бухту. Теперь за краем пустой каменной чаши угадывалась в тумане разрушенная гряда. Безжизненная, неузнаваемая, злоеющая. Былое Зелёное Ожерелье. Имя горчило в устах, но от него не отказывались. Признать окончательную необратимость Беды Выскирег никак не желал.

Когда море ушло, с ближних гор протянулись щупальца снега. Будто в насмешку, первыми вымерзли орлиные гнёзда городского почёта. Жилища простонародья держались упорнее, но, казалось, тоже были обречены. И угаснуть бы Выскирегу среди множества городов Андархайны, обезлюдевших и забытых... однако Киян, уходя, оставил выскирегцам подарок. В каменных пропастях, где прежде дышали морские приливы, теперь отзывалась гулкая пустота, согретая теплом земных недр. Скоро деловито зазвенели зубила, и город как бы перевернулся. Чертоги вождей спрятались в глубине. Беднота, как и прежде, зябла у поверхности.

– Только Правомерную Палату не стали переносить, – рассказывал Невлин. – Андархайна зиждется Правдой. Той, что крепче разрушенных гор, долговечней испепелённых равнин...

У него на родовом щите красовались железные узы, даруемые воинам чести. «Это оттого, что нас на цепь приковал», – говорила Эльбиз.

Сход по витой лестнице был долог и крут. Ничего неодолимого для проворных молодых ног, но старого вельможу спускали в кресле-носилке.

– Люди говорят, нет худа без добра, – сказал Эрелис наставнику. – Суд вершат на морозе, поэтому разбирательство редко затягивается надолго.

Невлин поморщился:

– Подлый народ, по обыкновению, непочтителен...

– Дядя Сеггар повторял: пока мы смеёмся над тяготами, мы бессмертны.

Невлин покосился на невозмутимых носильщиков:

– Мой государь всё никак не забудет прежнюю жизнь. Да будет позволено...

Тут он был вынужден замолчать. Лестница расширилась площадкой. Уши заложило: плотный занавес пыли сотрясаясь лязгом и грохотом. Мелькали полуголые тела, срывал голос назиратель работ. Каменотёсы били отвесную дудку для подъёмника. Выскирег продолжал строиться.

Когда кругом стало потише, Невлин сердито отряхнул рукава:

– Да будет позволено мне отвлечь мысли государя от прошлого и обратить их к насущному!

Носилка раздражала его. Что за царедворец, сидящий в присутствии господина, вынужденного идти своими ногами!

– Сеггар Неуступ нам говорил и другое, – пробормотал Эрелис. – Ссечённую голову обратно не приживишь. От воина ждут защиты, тем более – от царя.

Невлин вновь покосился на широкие плечи, покоившие передок кресла. Прямой обычай наследника временами ввергал в отчаяние. И зачем носильщикам перестали залеплять уши воском?

– Никто не сомневается в правосудии нашего властелина Хадуга!

Эрелис в кои веки подобающе согласился:

– Никто. – Но тут же всё испортил: – Мне просто любопытно, наставник. Утешка был сыном родительским или без правды посягал на родство?

– Правителя, рождённого судить подданных, воистину украшает пытливость... Однако напомним тебе: ныне дознавалось не чьё-то родство, а истина гибели доброго отрока. Постиг ли это мой государь?

Эрелис гнул своё:

– Когда у наших воевод витязей ни за что убивают, они...

– Царевичей Андархайны ведёт закон, а не месть, присущая вожакам бродячих дружин!.. – перебил Невлин. – Что ещё усвоил мой государь?

Эрелис усмехнулся уголком рта:

– Что наш старший брат Кокурины постилы весьма уважает.

Невлин всплеснул руками, удивляясь, отчего не сбивается размеренная поступь слуг и носилка не катится по лестнице вниз. Что за речи в присутствии подлого люда!..

Эрелис понял: огорчил старика. Закрыв рот и молчал до самой двери, где нёс стражу рыжебородый Сибир.

В чертогах, образованных из естественного хода в скале, никто не жил прежде шегардайских царят. Невлин Трайгтрен считал это справедливым знаком судьбы. С чего начинать возрождение порушенного царства, как не с нового дома!

По меркам тесного подземного города обиталище сиротам досталось очень завидное. Пещеру завесили коврами, выгородив уютные ложницы и большую переднюю, чтобы сестре рукодельничать с девушками, а брату учиться принимать знатных гостей. Шершавый камень потолка ещё не успел зарости копотью от светильников, залосниться, как ношенная одежда. Одного жаль: юная хозяйка мало заботилась о достойном украшении дома. Другая бы придирчиво выбирала меха, раскладывала вышитые подушки...

Царевна Эльбиз и теперь отлынивала от занятия, приличного её сану.

В палате звенели коклюшки, звучало тихое пение – девушки, избранные царевне в сени, плели знаменитое выскирегское кружево. Кто наскатёрник, кто подзор, кто оплечье. Только один кутузик праздно покоился на своих козлах. Эльбиз, облачённая, по обыкновению, в домашние гачи и тельницу с безрукавкой, стояла коленями в большом кресле с отлёном. Раскрыв деревянный оклад, бережно поворачивала листы, хрустевшие кожей. Против царевны сидел отрок постарше, с гребнем просватанного в волосах. Мерил деревянной разномужкой дороги, испещрившие чертежи земель. Хмурился, что-то высчитывал. Сверялся с книгами о завоевании Левобережья.

На самом большом листе, прямо на ознате Шегардая, сидела дымчатая беглянка. Тянула заднюю лапку, вылизывалась. Тщательно, умиротворённо, неспешно.

При виде вошедших парень вскочил, ударил поясным поклоном. Пожилой челядин оставил сметать невидимые пылинки, пал на колени. Кружевницы бросили рукоделье, примяли ковёр головами в бисерных лентах.

– Не сердись, почтенный сын Сиге, – сказал Эрелис. – Все заметили, как владыка к побору дело клонил. Я постилы тоже люблю. Только есть их больше не буду.

У дальней стены виднелся верстак с тесличками и резаками. Рядом высилась дуплина, чёрная от морской воды, кое-где тронутая железом. Невлин гневно оттолкнул:

– Добрый правитель – не прачка, у которой что на уме, то и на языке. Правитель знает золотую цену своему слову и не роняет его в случайные уши!

Эрелис болезненно шурился на свет, но в глазах дрожали искры веселья. Дескать, мне-то пеняешь... Невлин покосился на склонённые девичьи затылки. Ещё до вечера пойдут перекуды: старый вельможа распекал отпрыска царей, да перед молодым Коршаковичем и всей комнатной чадьё! Невлин было собрался выгнать всех вон и тогда-то должным образом наставить Эрелиса на ум, но тут подала голос Эльбиз:

– Дядюшка Невлин... не объяснишь ли, что в книге написано? А то я и Злата уж спрашивала, а он тоже не знает!

Старик тотчас подобрел, обернулся. Эрелис временами приводил в отчаяние, но на царевну сердиться было невозможно.

– Что тебе непонятно, дитя?

– Вот здесь! – Эльбиз прижала пальцем страницу. – «Он купался в озере, а жена его – под струями водопада. Когда же он вышел на берег, жене довелось обернуться, и увидела она наготу мужа своего, и немедленно умерла, ибо не могла снести того её гордость...» Почему?

Девки разом навострили уши. Невлин поперхнулся от ужаса:

– Где ты вычитала такое?

Злат всё ниже опускал голову, безуспешно пряча улыбку. Эльбиз невинно моргнула. Глаза у неё были серые, как у брата, льняные волосы убраны по-северному, в тугую толстую косу. Андархский обычай распускать пряди казался ей привычкой бездельниц.

– В «Додревних сказаниях о славе Андархайны», – жалобно, словно отмаливаясь от розги, зачестила она. – Это про полководца Тигерна, нашего предка, и жену его Тайю. Вот скажи, с чего умирать? Подумаешь, нагота! Когда дядю Гуляя ранили в ногу, я...

– Во имя Закатных скал!.. – спешно перебил Невлин. – Дитя, здесь говорится не о больном, которому нужна помощь! Речь о супружеском целомудрии!

– А в чём оно? – удивилась Эльбиз. – Разве супруги не вручают один другому свою душу и плоть?

Мысленно Невлин поклялся завтра же вернуться с заботливой и доброй боярыней, способной объяснить сироте тайны женства... пока девочка с Сибиром советоваться не начала. Он откашлялся:

– Моей царевне следовало бы занять свой ум чтением более сообразным её естеству и летам...

Эрелис у него за спиной тихо проскользнул в спальню. Впустил подбежавшую кошку, со вздохом облегчения опустился на лавку. Ткнулся левым виском в тёплый, урчащий бок.

– Ты сам что ни день о замужестве мне толкуешь, – летел с той стороны плаксивый девичий голосок. – А о чём ни спрошу, ответить не хочешь. Братцу Аро дядька Серьга служит, а моя бабушка Орепея...

Ко времени, когда там всё затихло, боль почти отступила. Ощувив рядом сестру, Эрелис, не открывая глаз, повинулся:

– Опять на тебя старик нашумел...

– Я смотреть должна была, как ты на светильник мизюришь? – хмуро удивилась Эльбиз. Никаких слёз больше не было в помине. – Сильно грызёт? Сейчас девок повытолкаю...

– Не надо, истерплю, – отрёкся брат и вздохнул. – Что я без тебя делать буду...

Сестра села рядом, погладила по голове:

– Помнишь, дядя Космохвост говорил? Всё то же самое, только быстрее и лучше.

Свет, вливавшийся снаружи, перекрыл рослый Злат.

– А я смекнул, почему той жене день в ночь показался. Такую наготу увидела, что на самом деле не на что посмотреть!

Царевна фыркнула. Все трое засмеялись, даже Эрелис. Возле больной головы мерцали непостижимые кошачьи глаза. Уж я бы, мол, вам такого порассказала... да лень!

Второй день Беды

– Жги его, не жалей!

– Подстрекни, подстрекни!

– Не умеешь, другим бодило отдай...

Багрово-чёрное небо рдело над головами. Удар, проломивший все тверди Божьего мира, рассёк землю до огненного нутра, породив сотрясения, пожары и вихри. С хребта было видно зарево по южному окоёму: там плавился камень. На северный склон густо облетал белый прах пополам с чёрной копотью ближних гарей.

Люди, увидевшие конец привычного света, нескучно дожидаясь отпущенный срок.

От двух вкопанных в землю столбов тянулись прочные цепи. Одна – к поясу полуголого человека, другая – к ошейнику огромного пса. Точно подобранной длины хватало как раз, чтобы не запутались, но биться могли. Совсем недавно здесь карали рабов, нерасторопных и дерзких. Баловали сторожевых собак людской кровью. Учили яриться на один запах невольника.

Беда опрокинула всё природное устройство. Мир сошёл с ума. Обученный кобель искал взглядом псаря: зачем усыкаешь на человека, прежде неприкосновенного? Надсмотрщик тоже мешкал драться. Слишком хорошо понимал, во что превратят пёсы зубы его кости и плоть. Сзади тыкали острыми копьями, норовили достать факелом. Наконец человек закричал, взмахнул палкой. Кобель молча бросился наперехват. Две железные змеи вытянулись в одну струну.

Косматая толпа шумела, волновалась, наблюдая за боем.

– Иишь метко приложил!

– Нас каравиши, наторел.

– Пятиться вздумал? Гони его! Гони!

Третья шишка стала последней. Не имея привычки ходить босиком, человек оступился. Страшные челюсти сомкнулись на локте, стали перебирать, круша плечо, добираясь до горла. Надсмотрщик дёргался и кричал, но спасения уже не было.

Медная копь звалась Пропадихой.

Ступенчатую чашу, выгрызенную вековым трудом каторжан, разбило судорогами земли, из трещин быстро прибывала вода. Обезображенных мертвецов поглощала жижа, зелёная от яри. Неудержимая человеческая волна, извергнутая горой, захлестнула поселение у реки.

Самые смекалистые беглецы устремились к причалу. Набойные лодки, на которых третьего дня приплыл со свитой царевич, стояли красивые, вместительные, богатые. Грязные руки расхватили золочёные вёсла: хоть на царском насаде, хоть в свином корыте, лишь бы прочь, прочь отсюда скорей! Пока войско не подоспело. Оно, войско, всегда рядом, когда на каторге бунт.

Уносить ноги спешили не все. Толпа хлынула в развратные дома и кружала, где гуляли надсмотрщики да бурлаки, водившие баржи. Оттуда посейчас ещё долетал вой, едва членившийся на голоса. Предвидя скорую гибель, варнаки гуляли напропалую. Терзали непотребных девок, пластая распутниц на грудах яркого тряпья, выброшенного во двор. Забавлялись с поймаемыми надсмотрщиками. Этим женского тела было не надобно, лишь бы узреть корчи смертного врага. Услышать, как былой господин униженно молит, потом ревёт страшно, невменяемо, по-звериному.

Старичка, единственного укротителя охранных собак, вначале хотели спалить вместе с псарней. Всё же решили повременить. Кто-то смекнул, что кровожадная стая будет хороша для забавы.

Царевича и свиту одолели не сразу. Знатных гостей принимал в доме боярин, царской милостью державший здесь путь. Приезжие и хозяева были воины не последней руки. Отбивались полсутки. Последние живые, обессилев, уступили числу. Связанных и кровавых приволокли на площадку для травильной потехи.

– Ну-ка, что нам досталось...

– Гляди зорче, у кого тут кровь золотая?

Пожилых боярина отделили сразу. Ардара Харавона вся каторга знала в лицо. Остальные выглядели близнецами – грязные, оборванные, израненные. В тускло-багровом свете поди разбери белобрых от тёмных, андархов от левобережников. Царского знака ни на ком не нашлось. И кровь у всех была одинаковая, красная.

– Эй, боярин! Расточилось твоё боярство!

– Сказывай, который тут праведный?

За плевков наземь старому воину досталось кулаком сперва под дых, потом в рёбра.

– Огня сюда! Живо разговорится.

– Поднять, что ли, да усадить наземь с размаха...

– На цепь!

Седой псарь со слезами обнимал рычащего кобеля. Гладил сплющенное ухо, дрожащей рукой разбирал слипшуюся щетину. Каторжники смеялись горю старика, не подходя близко.

– Ишь жалеет, точно дитя родное.

– Нас бы кто пожалел!

Пёс, удерживаемый лишь прикосновением хозяйской ладони, горбился, рокотал близкой яростью, зрачки метали отблеск пожара. Однова хватанёт, семеро лекарей не зашьют!

Харавона поддёргнули за связанные руки, потащили вперёд, на ходу сдирая исподнее. Загрызенного надсмотрщика отволокли прочь, опустевшим поясом трясли перед глазами боярина:

– Нам царевича не указал, укажешь пёсьему зубу.

У Харавона вздулись жилы на лбу, он тицетно противился.

– Не тронь воеводу, рабы, – раздалось из скопища пленных.

Добровольные палачи приостановились. У молодого вельможи с рассечённого лба текла кровь, товарищи пытались его усадить, прикрывали собой, он упрямо поднимался.

– Хотели праведного, берите!

– А то не возьмём?

И подняли, раскидав других вязней.

– Праведный, говоришь!

Связанного крутили, щипали, тыкали пальцами, кололи чем попадя. Отзовётся ли царская плоть по-иному, чем у обычных людей? Никакой особенности не находили.

– Чем докажешь?

– А докажу. Кто познать хочет, кастёни?

Грозен голос человека, шагнувшего за предел страха. Только здесь некому было послушать его. Все таковы собрались.

– Хорош пугать, пуганые.

– Истый царевич не за столы поспешил бы, а нас по правде рассуживать.

– С безвинных цепи сбивать!

– Да толку с ним? Самого на цепь, чтобы знал!

Последнее усилие смертника бывает достойно памяти. Воин рванулся. Бешеным движением расшвырял всех державших. Обратился к возжаку палачей. Добела стиснул за спиной кулаки...

Перед ним стоял огромный детина, ещё не высушенный тяжёлым трудом и скудной кормёжкой. Узкий лоб, могучая шея, на левой щеке – клеймо бессрочного заточения. Что с таким сотворит израненный пленник?

Варнаки галдели, насмешничали. У клеймёного вдруг остекленели глаза, он замер на полуслове, будто услышав далёкий призыв. А потом рухнул оземь лицом, даже не выставив рук.

Все вдруг замолчали, каторжан мгновенным вихрем отмело прочь...

И в тишине с речного берега прокричали рога.

Передовой корабль взбежал носом на отмель, в пепельной метели маячили ещё два. Позже оказалось: налётная дружина едва дотягивала до сотни мечей, но ошалевшей от неожиданности каторге померещились тысячные отряды. Всё царское войско, подоспевшее отбивать праведного!

Застигнутые врасплох, пьяные кто от вина, кто от крови, бунтовщики мало чем смогли ответить карателям. Большинство просто разбежалось от сплочённого клина, ударившего снизу на склон. Железный строй сметал, крушил, затапывал всё, что попадалось навстречу. Дружина с переднего корабля продвигалась настолько споро, что толпа на травильной площадке так и не успела решить, добывать пленников или поставить щитом. Первые меткие стрелы обозначили конец хмельной безнаказанности, сходбище бросилось кто куда. Осталось несколько десятков самых отчаянных. Эти расхватили копыя надсмотрщиков, решившись забрать с собой кого повезёт.

Оборона плохо далась им. В самом челе клина рубился воин довольно скромного роста, но суций ширяй. Он нёс тяжёленную чешуйчатую броню, как простую рубашку. Отринув щит, в две руки орудовал огромным мечом. Длинный, широкий клинок, заточенный с одной стороны и увенчанный таким зубом, разил как колун. Крошил щиты, разносил головы под неумело вздетыми шлемами. Следом плыло знамя: серые крылья, хищный клюв.

– Хар-р-га! Хар-р-га!..

Тут уж самые стойкие кинулись врассыпную. Натиск могучего воеводы не оставил времени как следует отыгаться на пленниках. Над ослабевшим царевичем мелькнуло копьё, но в ноги убийце, извернувшись на земле, вкатился воин из свиты.

Предводитель опустил долу страшный косарь:

– Тут, что ли, одиннадцатый сын?

– Сам чей будешь?.. – прохрипел боярин Харавон. Знамя и клич отметали сомнения, но не просто же так царевича объявлять.

– Знать бы, что обрадуюсь тебе, Сеггар Неуступ, – разлепил губы праведный. – Кто на помощь привёл?

Воевода оглянулся. Вперёд вытолкнули надсмотрщика в кольчуге, с обвязанной головой:

– А вот он. Мешаем зовут.

Царевич устало смежил ресницы:

– Буду жив, отплачу.

– Мне б домой, твоё преподобство, – заторопился Мешай. – Сестричей малых по лавкам четыре...

Его сразу утянули назад, в глубину строя:

– Царственные от слова не пятят. Кабы до завтра дожить, тогда разговаривать станем.

– Мне что спятит, что позабудет, – ворчал недовольный Мешай. – Вона, глаза под лоб. А мне как раз бы подарочек...

У берега отзвучал боевой клич. Это завершила расправу младшая Сеггарова чадь, ведомая подвоеводами. Когда старшее знамя вернулось к причалу, там перекатывался хохот. Бунтовщики, взятые кто у винной бочки, кто без итанов, колыхались мычащей толпой. Лихие

обидчики слабых, жалкие против истинной силы. Выжившие непутки прикрывались рваньём, размазывали румяна и слёзы. Обнимали сапоги витязей, молили не оставлять на погибель.

Подвоеводы собрались подле возжя.

– Все целы? – коротко спросил Неуступ.

– Отрок Лягай скулой дубину поймал. Выправится.

– А веселье с чего?

– Варнаки угомониться не могут. С головами на плахе девок всё делают.

Сеггар хмуро оглядел никому не нужный полон. Ухоботье каторги, канувшей в прошлое вместе с былой Андархайной. И что теперь с ним делать?

– Под топор, – прогудел один подвоевода. Тяжёлая секира бабочкой порхала в непомерно сильной руке.

– Была охота лезо марасть, – возразил второй, весёлый и гибкий. У него на новеньком знамени трепетала скопа.

Подшли ещё трое ближников.

– О чём спор, други?

– Нету спора. Воевода взятых судит, мы советами помогаем. Молви, Оскремётушка!

Седеющий воин быстро взял сторону:

– Я с Ялмаком. Эти хуже крапивы, выводить, так под корень.

– Я бы... – начал второй.

Ялмак перебил:

– Мировицк, ясно, за щадю. Ты как мыслишь, Крыло?

Красавец-витязь – синий взор, тёмные волосы убраны с высокого лба – отмахнулся, сел чистить потрудившиеся мечи-близнецы. Судьба взыскала его редким даром оберучья, но не истой ревностью к бою. Он холил клинки, а казалось – струны после игры протирал.

– Мне ли забота? Воевода приговорит, я песню сложду.

Сеггар заслонил рукавицей глаза от колющих пепельных хлопьев. Долго смотрел в кровавое небо. На вершины хребта, окаймлённые глухо громыхающим заревом. Потом снова на пленников. Наконец вышел вперёд:

– Слыхали, поимники?

Те как-то разом примолкли. Отрезвели. Кто был пьян, вернулись в себя. Уставились на обтекающий кровью косарь. Услышали посвист лезвия возле своих шей.

– Всех бы вас по делам вашим казнить смертью. За былые грехи, за раны праведного царевича... а вот не стану. Чести много, непотребные души вслед светлой государевой посылать. Отплывём – ступайте, говорю, кто куда хочет. На новом разбое возьму, не помилую.

В толпе немного особняком держались несколько человек. С десятков обросших дикими волосами мужчин, починщиков насмешившей воинов ссоры из-за блудниц. А за широкой спиной одного косматого душегубца, кто бы мог ждать, таилась бабёнка из вольных. Хозяюшку весёлой избы суровый Кудаш избрал для себя. Отстоял кулаками, а дружки ему помогли. Так, всех вместе, сеггаровичи вытащили их во двор. И наставница «ласковых девишек» не бросилась к витязям за спасением. Она тоже сделала выбор.

В Торожиху

Жогушка, младший Опёнок, страсть не любил, когда мама его ребячила птенчиком, звоночком, кубариком. Оттого не любил, что заранее знал, чем кончится дело. Мама вытрет намокшие глаза, примется обнимать, целовать и... снова не пустит с другими ребятами кататься по ледяным валам на морозках. «Дома посиди, чадунюшко». Он и рад бы кроить лоскутья с бабушкой Коренихой или помогать брату Светелу варить клей. Но на что мама так его нежила, словно за порогом он должен был себе тотчас шею свернуть?

– Любит тебя, затем и боится, – объяснял брат. – Что случись, сама сразу жить перестанет.

– А тебя будто не любит? Меня только?

Светел тщательно обтягивал плетень снегоступа, широкий, облый, красивый. Ноге опора, глазу отрада.

– Я взрослый. Я кулаком стукну – обидчик из валенок улетит.

Жогушка задумался, кивнул, продолжил:

– И ещё ты пойдёшь братика Сквару искать.

Светел неторопливо кивнул. Свою взрослость он изрядно преувеличивал, но усы пробивались. Ровесники тайно радовались, что атя так и не благословил его молодцевать на Кругу.

– Пойду, – сказал он Жогушке.

– А скоро пойдёшь?

– А лыжи краше моих делать станешь, сразу и соберусь.

Жогушка задумался крепче. Срок выглядел несбыточным, как возвращение солнца. Узлы у него покамест выходили кривыми и неуклюжими, а к станку для выгибания лыж брат его вовсе не подпускал. Страшал: пальцы отдавишь. А уж самому раскалывать кряжики, вытёсывать ровные длинные доски... ох, небываемо! Младший Опёнок вспомнил о том, что было гораздо ближе и у всех на устах:

– А в Торожиху?

– Что – в Торожиху?

Губы начали кривиться, но Жогушка справился.

– Мама говорит, не дойду...

Светел вдруг рассмеялся. Он хорошо помнил себя таким же мальчонкой. И как мама боялась, что в дороге он убредёт от становища, заблудится, застудит ручонки-ножонки, утонет в оттепельном болоте, совсем пропадёт. А на торгу его укусят чужие собаки, отравит лежалое лакомство, обидит злой человек. Дома дитятко оставить, оно бы как-то надёжней. Правда, в те времена бабам вольно было у печки посиживать. Теплился огонёк дедушки, в самой силе мужевал Жог Пенёк, быстро подрастал Сквара...

– А дойдёшь?

Жогушка опустил глаза.

– Походник нестомчив должен быть, – строго продолжал Светел. – Ногами крепок, духом долог, станом надёжен. Сядь-ка на корточки, вот так... а теперь вверх выпрыгни!

Свезло Жогушке! Мудра была Ерга Корениха.

Когда Светел подступил к бабке за благословением идти с ватагой на торг, в избе пахло ужином. Корениха опустила руку с иголкой. Задумчиво поглядела, как свет лучины рождает сияние в жарых кудрях внука, бежит по уверенной поросли над губой. Прищурилась:

– Невестушка!

Равдуша, державшая на ухвате горшок, подняла голову:

– Что велишь, матушка?

Корениха кивнула в сторону клетки:

– Шатёр поднови. Все вместе в Торожиху пойдём.

Горшок с печёными рогозными клубнями чуть на пол не опрокинулся.

– Как – вместе, государыня? А Жогушка?

Братёнок, притихший на полатах, забоялся дышать.

– А что Жогушка? – спокойно ответила Корениха. – Не Пеньков разве побег?

– Так мал совсем! Слабенеж!.. Занеможет, расхворается, не дойдёт...

Светел весомо подал голос:

– Со мной – дойдёт.

Равдуша оглянулась. Хотела привычно щунуть сына: не твоего ума дело, молчи, пока не спросили. Только слова почему-то с языка не пошли. Сын стоял у порога, загородив плечами всю дверь. Жогова старая стёганка была на тех плечах как влитая. А руки! Мозолей гвоздём не проймёшь!

И за столом по всей правде на отцовском месте сидит.

Пятнадцать лет парню.

Равдуша часто заморгала. Подошла к Светелу, глянула снизу вверх. Он обнял мать, буркнул грубым голосом, приласкался. Повторил:

– Со мной – дойдёт.

– Ну... – выговорила она растерянно. – Если с тобой...

«Неужто поверила наконец?» Корениха скупо улыбнулась. Опять взялась за шитьё.

Лес кругом Твёржи, где братья Опёнки сызмала знали каждую тропку, был Жогушке как свой двор. Всё внятно в родной круговеньке. Нечастые клики птиц, повадки зверей, витающих у оттепельных полян. Постижимы токи метелей: обычных, с закатной стороны, и необычных, с востока. Просты и ясны повести следов на снегу...

Граница своего и чужого в чаще незрима. Нет здесь ни стен, ни ворот, просто дальше вот этого холма мы ни разу не забирались, что за ним?.. Шаг, ещё шаг... и вот уже обступил неведомый лес, шепчущий страхами и чудесами. По виду – совсем такой же, как дома. На деле... Жогушке всё казалось – здесь даже снег под лапками по-иному скрипел...

Конечно, младший Опёнок не показывал виду. Размеренно упирался кайком. Деловито переставлял нарядные, нарочно для него выгнутые лапочки. Оглядывался на брата. Светел вёз большие новые сани, нагруженные припасами и шатром. Жогушка те сани сдвинуть не мог, брат шёл легко.

Иногда Светел начинал хмуриться, прямо на ходу смыкал веки. Благо лыжница, проложенная передовыми длинного поезда, сама вела ноги. Когда такое случалось, лицо брата становилось суровым, сосредоточенным, незнакомым. Жогушка знал: Светел отодвигал голоса поезжан, отдалял мысли об узлах на поклаже, о Зыкиной задней лапе, пораненной наракуем. Окутавшись тишиной, он шагал среди боевых побратимов. Следовал за воеводой. Да не в шумную весёлую Торожиху – на юг. За Светынь. В немилостивое Левобережье, в чужедальнюю Андархайну. Туда, где, если подумать, вовсе нечего делать доброму человеку. Туда, где...

Взрослые тяжёлые мысли долго на уме не держались. Жогушка тоже просил себе саночки. Ну хоть маленькие. «Сам сверстаешь, сам и потянешь, – обещал Светел. – Не захнычешь в пути, полозья гнуть выучу!»

Жогушка не хныкал. Хотя временами идти становилось правда неважно.

Сейчас мама заметит, что Светел вновь размялся, оставил присматривать за братишкой. Будут слёзы. Светелу напрягай, Жогушке обидно... Кто бы ей объяснил: сынище не глядя, по скрипу снега, по дыханию меньшого определяет, пора ли тому влезать на тюки!

– Слышь, братёнок... Проверь, каково шнуры держатся.

Светел никогда не посылал его отдохнуть, только за делом. Жогушка понимал игру и был благодарен. Он отбежал с пути, запрыгнул на санки. Снял снегоступы, начал дёргать верёвки.

В санки поменьше, нагруженные лыжами и бабушкиными куклами на продажу, поставили непреклонного Зыку. На изволоках бабы ему помогали. Морда у кобеля была вся седая. Светел пробовал впрягать с ним собак помоложе, но Зыка посторонков гонял. Ни с кем не желал честью делиться.

- Иди сюда, братёнок. Лезь на плечи.
- Я ведь тебя погрею, братище?
- Вестимо, погреешь! А я тебе сказывал, почему у клеста клюв загнутый?
- Расскажи! Расскажи!

Раньше Светел был глуп. Или просто мал, что, по сути, одно. Ещё при отце побывал разок в Торожихе – и целый год думал потом, как легко и счастливо, должно быть, там люди живут. Могучий зеленец, где отваживалась вылезать из земли трава, приютил аж три длинные улицы. С одной на другую ходят в гости, ребяшня воюет и мирится, взрослые присматривают невест...

Долго же Пеньки не приезжали сюда.

Твёржинский зеленец состоял как бы из двух, один посильней, другой послабей. Во втором не то что трава – даже мох расти не хотел. Под низким пологом тумана лежало чистое песчаное поле. Зато места хватало и для торга, и для всяких забав.

Когда прибыл твёржинский поезд, на широкой площадке возле тёплых прудов уже стояли палатки, юрил народ. Люди сразу набежали встречать знакомых походников. Соседски помогать с обустройством, заодно спрашивать, какой товар привезли, а главное, что нового слышно. Приветствовали Пеньков.

Светел быстро воздвиг шесты для шатра. Он тоже высматривал друзей – левобережника Геррика с сыном Кайтаром, но тех пока не было видно. Зато, едва растеплили очажок и мать с бабушкой собрались сменить походные сряды на обычные бабы, – явилась большакова сестра, великая тётушка Шамша Розщепиха, прозванная Носыней.

– Не зашла я к тебе при отъезде, сестрица, – усаживаясь, повинилась она Коренихе. – Сердце изнылось дорогой: как они, мои бедные? Кто ж им собратья помог?

Бедные! Спасибо, сиротками не назвала.

Бабушка спокойно ответила:

– Милостью Светлых Богов, сами управились. А на приветном слове благодарим.

Светел по другую сторону очажка ладил большой, на всю семью, походный лежак. Равдуша молча принесла чистого снега, повесила над огнём котелок – греть привезённые с собой мороженые щи.

– Ты-то куда из дому снарядилась, Равдушенька? – принявшись к котелку, укорила Носыня. – У тебя ребя малое! Не умом ли тронулась, дитятко по морозу тащить?

Жига-Равдуша не знала, как отвечать. Поглядывала на свекровь.

Та прятала досаду. Розщепиха в дороге не слезала с саней, да и теперь дел у вдовы было кот наплакал. Без неё полно рук возвысить шатёр, сготовить еду, постели постлать. Только осталось пойти беспутных Пеньков уму-разуму поучить!

Сейчас ещё попеняет, что сестрица Ерга без дела расселась.

Светел поймал бабушкин взгляд, живо сбегал к саночкам, притащил короб. Корениха вынула куклу, начатую в последний день дома, нитки, иголки. Примерила на реднину чешуйку еловой шишки. Она обряжала в броню гордого воина, вышедшего защищать Коновой Вен. Цельных шишек в лесу теперь стало не сбить даже самой меткой стрелой. Братья Опёнки ползали под ёлками на привалах, собирали остатки беличьих трапез. Новую куклу Светел успел прозвать Воеводой.

Розщепихе бабушка ответила, как надлежало создательнице героя:

– Нешто усомнилась, Шамшица, что я внуков и невестку соблюсти возмогу?

– Так по нынешним временам беспокойным поди людей разбери. Вона, сама в портах сидишь, как мужик какой, и невестке не возбраняешь!

Лучина породила в глазах Ерги Коренихи грозные огоньки. Корениха с Равдушей из самой Твёржи пришли своими ногами. Ровесница Носыни только-только присела, но поди что объясни. Розщепиха ещё припомнила важное, схватилась за щёки:

– Охти мне! А двор на кого?

– Ишутка присмотрит.

Светелу, неизвестно почему, стало стыдно. Ишутке бы тоже людей повидать, забавам порадоваться. Вся жизнь между хлёпотом и рыбным прудом! Соседи на веселье, а ей – чужой двор доглядать.

Может, следующий раз...

Розщепиха не унималась:

– А что за товары, сестрица милая, приготовила? За многими тревогами недосуг было расспросить...

– Кукол на рундук выставлю. А внук лапками плетёными, иртами беговыми добрых людей радовать станет.

Розщепиха с сомнением покачала головой в чистой, как всегда, белой вдовьей сороке:

– Будто польстится кто на те лыжи? Вот сын твой, помню, верстал... Моё дело сторона, а люди что скажут? Мальчонка настрогал для потехи, старая на торг привезла?

Светел ощутил, как начали гореть уши.

– Лыжи внука моего, – ровным голосом ответила Корениха, – вся Твёржа подвязывать не стыдится, да и соседи через одного.

– Так мы, сестрица любимая, гуси не гордые... вас жалеючи берём... А сюда с Левобережья приедут! Из самой Андархайны! Я же что, я же правду говорю, которой тебе другие не скажут.

«Вот именно. Из Андархайны...»

Бабушка оглянулась на Светела. Посмотрела на Равдушу. Трое подумали об одном.

О старшем родительском сыне, безвестно канувшем за Светыню.

Откинулась входная полсть, в шатёр спиной вперёд проник Жогушка. Согнувшись, упираясь, пыхтя, братёнок тащил Светелу последнюю теснину для лежака.

При виде усердного малыша Розщепихино остроносое личико сморщилось улыбкой, но тут же вновь омрачилось.

– Ты бы, Равдушенька, малюточку пристальней берегла... На торгу калека побирается, со спины – ну точь-в-точь старшенький твой, я увидела, аж прям сердце зашлось!

Мама ахнула, заметалась.

– Светелко, – сказала Ерга Корениха.

– Что, бабушка?

– Ступайте-ка оба, погуляйте вокруг, пока щи греются.

За лубушку

Чего бояться в Торожихе потомку храбрецов, у которого есть старший брат? Совсем нечего. Жогушка и не боялся. Он просто жался к ноге Светела всё плотней, потом вовсе обхватил её, уткнулся лицом. Братище остановился. Рассмеялся, подхватил Жогушку, крепко обнял.

Поднял высоко над собой, заставил вспомнить Рыжика. Тайные, опричь маминых глаз, полёты над лесом.

Усадил на плечи.

Вот теперь можно было вертеться вправо и влево, заглядывать через головы, насматривать самое занятное впереди.

– Видишь? – спросил Светел. – Во-он там!

Жогушка вытянулся, проследил, куда указывал брат. Седой дедушка, окружённый шумной ватагой парней, девок и ребятни, катил ручную тележку. Сквозь отверстия лубяной клетки мелькали серые перья, долетал воинственный гогот.

– Гуси! – обрадовался Жогушка. – Как наши!

Светел кивнул:

– Как наши, да не совсем. Дóма простые, эти боевые.

Жогушка с сомнением посмотрел на тележку. На его взгляд, домашние гуси тоже мирным нравом не отличались. По крайней мере, без хворостины к ним лучше было не подходить. У Жогушки разгорелись глаза.

– Боевые? У них дружина гусятинная? Расскажи!

Светел легонько подкинул его на плечах:

– Что рассказывать, пойдём поглядим.

А сам, пробираясь вслед гусачнику, кланяясь знакомым, обшаривал людское скопище взглядом. Кого видела Розщепиха?

«А что, если...»

Сквара, вырвавшийся от мораничей. Покалеченный жестокими котлярами. Таящийся почему-то.

«Да ну. Нешто станет Сквара на чужом торгу побираться? Какая ему Торожиха, он домой прибежит...»

И принесёт всей деревне беду.

«Чтобы нас... как Подстёг...»

Захотелось скорей назад, в свой шатёр. Оборонять маму с бабушкой.

Среди русских макушек мелькнула темноволосая. Светел вздрогнул, забыл гусей и весь белый свет, шагнул... Человек повернулся, сказал что-то спутнику, показал руками, засмеялся. Карие глаза, нос баклушей. И волос, если приглядеться, вовсе не Скварин.

– Светелко, ты куда? – удивлённо подал голос братёнок.

Светел очнулся. Вздохнул. Вернулся в шум купилища, почему-то не затканый песнями и гусельным звоном. Заново отыскал впереди лубяную клетку. Наддал шагу. Когда они с Жогушкой подошли, люди уже раздвинули круг. Седой гусачник весело препирался с другим таким же охотником. В клетках хлопали крылья.

– Маловат боец!

– Струсит сразу. Попятит. А голову ссечёшь – и ни тебе навару для щей.

– Уж твой-то велик! Жир да перья! К бою холил или к свадьбе откармливал?

Люди смеялись, вспоминали былые подвиги соперников, делали ставки.

– Это разве бой!.. Вот осенью оботуров пускали, грому было – рундуки по рядам тряслись!

– Так то осенью...

– Зárничек, – узнал Светел парня, помогавшего старику.

Дед и внук жили в сутках бега от Твёржи. В деревне Затресье, славной крепкими рогожами и боевыми гусями.

– Светелко! Погоди, недосуг...

Дедушка уже открывал клетку.

Для начала охотники выпустили гусынь. Опытные задорщицы чуть потоптались, оглядываясь на свободе. Увидели чужа́чек. Забили крыльями, стали шипеть. Хозяева тут же вынули из корзин самих поединщиков. Крупных, сильных, свирепых. Гусаки тотчас разъярились, встопорщили ожерелки. На моих любушек посягать? Не спущу!..

Бросились! Потеха пошла. Хлестали мощные крылья, цепкие клювы драли за па́портки – только пух на стороны.

Гусыни хлопотали кругом, подзуживали, радели. Хозяева и позоряне оценивали каждый щипок, каждый удар:

– Смотри, смотри! В глаз метит!

– Оплошка это!

– Не оплошка, а голову прочь да с капустой в горшок!

До того расшумелись, что Светел не скоро услышал голос из-за спины:

– Опёнок!

Он внял наконец, оглянулся:

– Кайтар! Друзе!

– Ты где был?

– Да вот шатёр только поставили.

Жогушка чинно поклонился с братниных плеч:

– Можешь ли гораздо, дядя Кайтар.

– И тебе на лёгки лыжи, племянничек, – улыбнулся левобережник. За год, что не виделись, он возмужал, оплёлчился, голосом и повадками стал суший отец. Так дело пойдёт, сам собой примется на торг выезжать.

Кайтар вдруг покраснел, помялся, спросил:

– А вы... ну... дёдинька, сосед ваш, приехал?

На самом деле, понятно, спрашивал он совсем не про деда. Светелу опять стало стыдно.

– Они с Ишуткой дома остались. Да вы после торга к нам небось?

Кайтар вспомнил о деле. Тотчас из робкого парнишки обратился в хваткого молодого купца:

– А как иначе! Без твоих лыж домой не рука! Вот не знал батюшка, что сам припожалуешь. Ты хоть не расторговался ещё?

Вернувшись с Кайтаром в шатёр, Светел даже подосадовал, не застав Розщепихи. Значит, его лыжам осмеяние предрекать – она тут как тут, а порадоваться, что Кайтар с отцом не глядя все забирают, – поминай как звали? Скучновато заживёт Твёржа, когда Розщепиха со святыми родителями воссядет. «Есть старуха – убил бы её. Нет старухи – прикупил бы её...»

Котелок над очажком уже закипал. Мама сразу пригласила Кайтара к трапезе.

– Кайтарушко... – нерешительно проговорила она. – Вы, торгованы удалые, всюду побывали... всё видели, про всё слышали...

У Светела сердце стукнуло мимо. Будь у Кайтара новости, поди, не выложил бы прямо под гусиные крики? И ещё. Прежде мама всегда ждала ответа от Геррика. Теперь спрашивала сына. Бежит время.

Кайтар отведал шей, вздохнул, с поклоном отмолвил:

– Мы помним слово, данное моему мужу, госпожа Жига. Не обессудь, но мне пока нечем тебя повеселить.

Равдуша померкла, отвернулась, жалко изломив брови. Светел знал: мама шла в Торожиху ради вестей, которые могли доставить сегдинские. Пять лет!..

Для Коренихи, надобно думать, вкусная щаная капуста тоже обратилась опилками, но бабушка лишь негромко сказала:

– Мой внук объявится. Мы будем ждать.

Двое парней живо достали из санок рогожные кули с лыжами. Взвалили на крепкие плечи, понесли в другой конец рядов, где обосновался Геррик.

– Потом-то всё же завернёте к нам погостить? – спросил Светел.

Кайтар высунулся из-под ноши, кивнул:

– Батюшка собирался.

«А как иначе. С дедом Игоркой о внучке-славёнушке потолковать...»

Светел немного подумал, фыркнул, засмеялся:

– Получается, съездят мои лыжи туда и обратно! Зачем вёз?

Воздух торговых рядов слегка пьянит, обращает отчаянных неклюдов улыбками, самую простую шутку заставляет искриться. Кайтар тоже развеселился:

– Не ты на лыжах – лыжи на тебе! Людям смех!

– Я-то ладно, а сам? Опытный торгован! Вот скажи, на что сейчас тюки было развязывать? В Твёрже бы и передали, и сочлись...

На хохот парней весело обернулась невысокая женщина, ходившая по торгу в сопровождении дочек. Светел тоже повёл взглядом на девок. Скромницы показались ему на диво пригожими. Гибкие, тоненькие. У двух косы русые, у третьей смоляная. Под лукавыми взглядами Светел вдруг вспомнил, что по милости Розщепихи так и не принарядился. Ставя шатёр, лишь сбросил кожух, в коем шёл по морозу. А добрый кафтан, крашенный, на петлицах, вот бы, расправив плечи, мимо девок ходить, – остался в тюке. Экая досада!

Ещё через десяток шагов Кайтар оставил веселье, помялся, проговорил:

– Я при твоей матери сказывать убоился. Мало ли... незачем ей попусту плакать. Заезжий гость боял, зимой в Шегардае скоморох людей тешил. Владычице смеяться дерзал.

«Дядя Кербога!..» Вслух Светел удивился:

– С чего плакать?

– А с того, что бесчинника, люди бают, моранич пришлый отвадил.

«Ох. Дядя Кербога...»

– И что... Отвадил, говоришь? Он его... он...

Продолжать было страшно. Кайтар поспешил успокоить:

– Песнями перепёл. Хвалами Царице. Начисто посрамил.

– Скомороха?.. Перепел? Да ну, не морозь.

– Я передаю, что от людей слышал. Молодой вроде парнишка. Волосом чёрен.

Туман зеленца разом набряк, пригасил оживлённый шум торга, мокрой шубой навалился на плечи. «Чтобы Сквара... хвалы моранские пел... И волосы у него вовсе другие. Чёрно-свинцовые...»

– ...И голосина – утки на лету падали. Твой брат петь был вроде горазд?

«Голос крылатый...» Светел приговорил решительно и почему-то охрипло:

– А чтоб шиш на левой руке гнулся плохо, не примечали?

Кайтар покачал головой:

– Про такое речей не было.

Светел кивнул:

– Тебе, друже, спасибо, что матери промолчал. Правда твоя, незачем ей зря горевать.

В первые годы после Беды, когда в удобной Торожихе затеялся торг, люди меняли вещи и снедь. Такое и поныне велось, но матёрые купцы держали под руками весы. Рубили на колодах андархские сребреники, сводя счёт.

Светел возвращался от сегдинских, храня звонкий мешочек и чувствуя себя богачом.

Как радостно, оказывается, любоваться резными костяными ложками, поливными горшочками, пасмами крашеных ниток – и понимать: а вот возьму и куплю, чего ни пожелает душа! Светел улыбался, гордо нёс подбородок, отворачивался от соблазнов. Уж мама с бабушкой разберутся, будет ли утка с водяным горохом на тонком андархском блюде вкуснее, чем на простом деревянном! И какие штаны к телу мягче: домашние стёганные – или кожаные, привозные с левого берега. Может, с великих барышей даже в корчемный шатёр выберутся, чужих пирогов попробовать, сладкого пива испить...

Удивляло, что по-прежнему нигде не было слышно гуслей.

Зато гнездарей хватало по всему торгу. Светел знай поглядывал, желая и боясь узнать Звигуров. Что делать, если вправду появится дядька Берёга? Не узнать, гордо мимо пройти? Скрутить гордость, о новостях расспросить? Вдруг они про Лыкаша вызнали, а с ним и про Сквару?

Не он один чаял новостей, искал знакомые лица.

– Десибрат Головня что-то мешкает. А грозился соли доставить, сушёных грибов.

– Шабра своего дожидается, Дегтяря.

– Дегтяря?

– Летось за его смолу на торгу в кулаки шли. Ныне вроде сам хотел выехать.

– Забоялся, поди. Дорога не ближняя, лихие люди пошаливают.

– От лихих людей опасную дружину нанять можно. Барыша достанет небось.

Светел вновь размечтался. Увидел вешки в лесу и медленный поезд, ползущий сквозь снеговые завалы. Вот с гиканьем встают из-за выворотней разбойные люди, один другого страшней! Размахивают кистенями да копьями, тянут руки к поклаже!

Только походники непросты. Витязи распахивают плащи, оказывая кольчуги. Рвут из ножен мечи. А ну, кто храбрый на нас?..

В рядах было тесно. Светела толкали слева и справа, рассеивая мечту. Слышались громкие голоса. Двое покупателей стояли борода в бороду, мерили один другого грозными взглядами. Продавщик маялся растерянный, держал муравленный андархский горшок.

С дальнего лотка взгляду отозвался железный блеск, неодолимо манящий. Светел поддался. Не купить, так досыта насмотреться!

– Можешь ли гораздо, дядя Комар, – поклонился он кузнецу.

Кто не знает Синяву Комара, ножевщика, оружейника, славного на весь Коновой Вен!

Волосатые ручищи любовно холили ветошкой новенький клиночек. Испытывали заточку, сбывая по волоску. Синява неспешно поднял глаза. Увидел Светела. Кивнул, прищурился на твёржинский узор у ворота стёганки:

– Ты, что ли, сынишка Пеньков?

– Люди так зовут, дяденька.

– Ишь вымахал парнюга. Лыжи уставляешь?

– Как не уставлять, дядя Синява. С ними пришёл. А бабушка – с куклами.

– С куклами? – оживился кузнец. – Где встали, чтобы мне знать?

У него на лотке лежало много ножей, все острые, красивые. Обычные маленькие поясные. Длинные, в пядь, удобные для охоты и боя. А прямо над головой, на шесте навеса, красовался меч. Не продажный, вестимо. Ещё не хватало мечи кому ни попадя на купилище продавать! Висел зримым свидетельством: этому делателю и такое искусство знакомо. Приходи сговаривайся. Заберёшь через полгода.

Светел не мог оторвать взгляда от плетёного узора на гладком клинке. Пытался представить в руке грозную и благородную тяжесть. Не получалось. Лишь зубы сводило желанием купить что-нибудь для воинской sprawy. Но вот что? Надёжный лук у Светела был. И копье было. В полратовья, с перекладной и с ножами. Ну хоть что-нибудь. Хоть ремешок – придёт день, на таком же купилище завязать ножны. Смешно. Глупо. Но сил нет, как охота подвигнуться на волос ближе к задуманному!

– Дядя Синява, – откашлялся Светел. – Ты, смотрю, меч повесил. Не дружину ли ждут? Кузнец усмехнулся:

– А то. Говорят, сам Ялмак припожалует.

– Лишень-Раз?.. – ахнул Светел. Глаза разгорелись. – Железная?!

Он знал наперечёт всех вождей, ходивших на Коновой Вен. Особенно тех, чьи дружины удостоились особых имён. Ялмака с его Железной и Сеггара Неуступа, водившего Царскую. Светел жадно слушал людские пересуды, раздумывал, выбирал... жарко волновался, словно кланяться воеводе предстояло прямо завтра.

Глядя на парня, Синява покачал головой:

– Ты, вижу, дурости ребячьей не перерос. Мать небось потекает, а без отца хворостиной отбаловать некому.

Светел сразу померк. Спрятал глаза. Так-то. Люди всё про всех знают. Иногда это вроде хорошо. Иногда...

Он заводил разговор, думая упросить кузнеца дать к мечу руку примерить. Теперь не подступишься. «Меньше надо болтать, что из дому с воинами обрёкся. Каждому теперь объясняй – атя благословить обещал?..» Ждать, какими ещё словами Комар придумает его на ум направлять, не хотелось. Он отдал простой поклон:

– Спасибо на заботном слове, дядя Синява. Пойду я.

«Дурость, значит. Ребячество. У тебя бы сына свели. Бабушке донесу, она кукол от тебя всех спрячет подальше!»

Светел сердился, хмурился. Думал про Ялмака. Даже не глянул на молодожавых супругов, остановившихся у соседнего шатра. Женщина пугливо держалась за руку мужа. На лотке, принадлежавшем троюродному брату Синявы, лежали очень хорошие долотца, ложкорезы, клюкарзы. Супруги не замечали. Молча смотрели то друг на дружку, то снова на Светела. Непонятно тоскливыми, больными глазами. Мужик был крепкий, светловолосый. Бабонька мела песок новой праздничной понёвой, зелёной с серым глазком.

Новая подруга

Горечь от слов Комара на вечный век не осталась. Слишком много занятого творилось вокруг. Услышав в стороне задорное пение, Светел свернул с прямой улицы. Может, там-то наконец сошлись гусяры, умение сравнивают?

На песчаной площадке сдвинулся плотный людской круг, однако Светел никому особым ростом не уступал. Вытянулся, приподнялся на цыпочки, всё как есть разглядел.

Внутри круга ревновали один другому корзинщики.

У справного хозяина ничто не пропадает зазря. Кто-то чистил рыбное озерко от сорной травы, негодной даже на сено для коз, – и смекнул, что тощие стебли как разгодились плести. Дурное вичьё – не лоза, но чем уж богаты!.. Кликнули потеху. Поставили корыта с водой. Низкие скамеечки для удобства.

«Так ведь щит сплести можно, – тотчас озарило Светела. – Кожей обтянуть. Берёстой оклеить...»

Под крики позорян плетельщики взялись за дело.

Любо-дорого следить, как споро мелькали сильные пальцы! Выхватывали из вороха самый гожий стебель, а то по два сразу. Свивали невзрачные плети в тугий прочный узор. Давали порядок, радость и красоту. Плотно сбивали колотушкой... И всё будто вприпляс. Легко, весело. Чего стоила подобная лёгкость, Светел очень хорошо знал.

«Вот бы объявиться пораньше. Сейчас бы с ними тягался!»

Из такой травы он никогда прежде не плёл, но, без сомнения, совладал бы. Только мама могла не благословить. «Вперёд людей лезть, пока упросом не упросят, – правды в том нет!»

А бабушка добавит:

«Леворучье остерегись являть. Недобрых глаз много...»

И будут обе правы. А ты, значит, ходи стреноженный мимо веселья. Мечтай, пока пора деяний приспееет. А скоро ли ей приспеть, если Жогушка ещё мал? Соседи соседями, но вовсе без мужской руки дом покинуть?

...Кто-то уже сплотил донце, поставил стебли для боковин. Кто-то, наоборот, начал с обода, проворно гнал вниз...

Изначальный порыв успел отгореть. Позоряне подходили и уходили. Беседовали о своём. Самые упорные коротали время песнями. Отмечали хлопками ладоней каждый круг голосницы. Пестерь – дело долгое. Однообразное. Не борьба с носка. Не стрельба лучная. Голоса поющих скучнели, делались жиже. Скоро кругом ристалища останется только родня. Да и та возьмётся зевать.

– Гусяра бы, – вздохнули неподалёку. – Без гусяра какое веселье.

Светел наострил уши.

– Гусяра? Дурных нету играть: Крыла ждут!

– Все гусельки попрятали, кто и привёз.

– Ещё третьего дня подвалить должен был. С ялмаковичами.

– Раньше вроде с Царской ходил?

– Ему кто указ! Такой всюду желанен.

– А пока ждут, скучать велишь?

Светел решился. Раскрыл рот. Оробел, смолчал. Снова решился. Кашлянул.

– Я сыграть могу. Я эти песни все знаю.

К нему обернулись.

– Тут каждый сыграет, да никому не охота.

– Молод больно. К мамке ступай!

– Ручищи у тебя, парень, не по струнам похаживать...

- Вправду можешь или без толку болтаешь?
- Светел рассердился, насупился, робость вмиг отбежала.
- Дома, в Твёрже, кулачный Круг водить довольно хорош был...
- В Твёрже?
- А гусли привёз?
- Ну...
- Беги, парень, за гусельками живой ногой! Распотешь добрый народ!

Хотелось влететь в шатёр, чехолок в охапку – и немедля мчаться обратно, пока плетельщицы не завершили трудов!

Мама с бабушкой сидели перед шатром, у лубяного рундука с куклами. За их спинами, на толстом войлоке, в обнимку с Зыкой спал Жогушка.

Светел поклонился матери, отдал кошель, тяжёлый от серебра:

– Геррик сегдинский приветное слово шлёт, в гости обещается. Мама... люди меня на гусях просят сыграть. Под ристалище... Благословишь?

Спросил замирая. Чего только не передумал, пока Равдуша поднимала глаза. «Откажет. Дел найдёт в шатре и вокруг, напомним соседям помощь подать. Убоится: дитяtko на торгу пропадёт. И что тётушка Розщепиха говорить станет...»

Мама с каким-то беспомощным восторгом оглядела взрослого сына:

– Ступай уж, Светелко.

Он засиял. Пригрозил пальцем Зыке, чтобы не вскочил, не разбудил Жогушку. Перешагнул обоих, скрылся в шатре... Вынырнул уже в кафтане цвета тёмной ржавчины при жёлтых петлицах. Вынес в руках такой же колпак и берестяной чехол с гусями.

– Пуговку перестегни!

Светел ударил матери с бабушкой поясным поклоном, ринулся прочь. Сперва шагал, пытаясь быть степенным и взрослым. Не выдержал, сорвался на бег.

Корениха с Равдушей переглянулись.

«Славный вырос парнишечка», – хотела сказать Корениха. Не успела. Невестка вдруг всполошилась:

– Что за ристалище, не сказал! Вдруг из луков мишёнят?

Уже пожалела, что отпустила его, уже въяве услышала звон шальной стрелы, бьющей в тонкую полочку гуслей... и добро ещё, если в гусли... Сейчас на ноги вскочит – догонять сына, присматривать, чтоб худа с дитяtkом не случилась.

– А ну сиди! – свела брови строгая Корениха. – Серебро вон какими кошельками таскает, а тебе всё маленек, всё глупенек!.. Я за Жогом так-то не назирала. И тебе не велю!

– Да смирное у них ристалище, – прогудел густой голос. – Корзины взапуски плетут, а без гусяра скучно. Поздорову ли, государыни Опёнушки?

Женщины обернулись.

– Сам гораздо можешь ли, Синявище! Присаживайся, в ногах правды нету...

Шамша Розщепиха обходила ряды неторопливо, с достоинством. Как то подобало сестре твёржинского большака. Не лицо матёрой вдове входить в заботы купли-продажи. Для этого младшая родня есть, братучада, невестки. Ей, Шамшице, разведывать красный товар, гладить привозные шелка, ворошить белёную шерсть, оценивать смурые, чермные, зелёные нитки... пересуды вести о делах дальних и ближних.

– Старика у них в самый Корочун ударом ударило.

– Ой, беда! Нам-то помнится крепким, плечи – во, краснорожий... поглядеть – до ста лет изводу не будет!

– Так оно и бывает. Большое дерево разом падает. Скрипучее, хилое по два века скрипит.

- Что ж он теперь?
- Еле говорит, всё сынами повелевает.
- И как сыны? Слушают?
- Да ну...

Мимо рундуков, где выставляли изделия сродни домашним, Розщепиха проплывала с величавой надменностью. Вот уж радость была растрясать в дороге старые кости, чтобы глаза пялить на знакомое! А то её племянницы с невестками за гребнями не сидели, тонких ниток не пряли, кросна не уставляли на браный узор! Розщепиху влѣк чужедальний привоз. Смушки морских зверей с устья Светыни. Водяные орехи, пряные травы с левого берега. Затеиливые пряжки, булавки... А в первую голову, конечно, посуда, добытая по разрушенным городам Андархайны. Где ж она?

- В Койге-хуторе что случилось, слышали? Дитя родилось о двух головах.
- Да ладно!
- Мѣрлое, поди? Или подышало немножко?
- Кричит на два голоса и разом обе титьки сосѣт.
- Оттого небось, что Койдиха дом в перепутную избу обратила, что ни седмица, то гости опять.

- Если б святые родители гневались, умерло бы дитя. А раз кричит...

Мимо прошла баба-гнездариха. Следом семенили три послушные дочки. Носыня пригляделась к вышивкам на рукавах и подолах, не опознала узора. Наверно, глаза под старость стали не те. А вот девки – взору услада, отчему дому благословение, матери венец! Ай, скромницы, смиренницы, выступают тихохонько, ресниц зря не вскинут, ушки серебром завешены на случай непристойных речей...

В Твѣрже бы кое-кому подобное добронравие! Навстречу безо всякой степенности пробежал Светел. Шапка чуть с затылка не валится, кафтан полами разметался, коробок с гуселишками наперевес... Куда Равдуша с Коренихой глядят?

- Охти-тошненько, – долетел голос. – Не минуть, бабоньки, нам скорой войны!
- Это с чего бы?
- А с того, что в Шегардае Ойдриговичи объявились.
- Откуда взялись проклятые?
- Всѣ врут андархи, нам напужку дать норовят!
- Может, и врут, только люди вечем стояли и красный боярин по писаному объявлял.
- Где Шегардай, а где Торожиха!.. Кто на сорочьем хвосте принѣс?
- Геррик сегдинский.
- Ну... если Геррик...
- Что будет-то, бабоньки?
- А ничего! Деда Ойдриговичей отваживали – и внуки отвадят!
- Да кем сказано, что непременно война?

Век бы таких вестей не слышать! Никто не радуется войне, кроме иных дурней безусых, гадающих, на что удаль направить... Розщепиха тихо ахнула, закусила палец. Решилась бежать назад в свой шатѣр. Решилась остаться и послушать ещѣ. Тут её тронули за рукав.

- Здравствуй, государыня большакова сестрица.

Шамша испуганно оглянулась. Слова о близкой войне заставляли отовсюду ждать скверного, страшного. Однако перед ней стояла всего лишь та пришлая гнездариха. Глядела в глаза, ласково улыбалась.

– И ты здравствуй, добрая сестрица, – не сразу отыскав голос, пискнула Розщепиха. Заново вгляделась, прищурилась. – Прости уж, подслепа стала на старости, не умею звать-величать...

– Было б за что прощать, – рассмеялась чужачка. – Мы в Торожихе странные странницы, наши рукава тут никому не в догадку... Зато ты, почтенная Шамшица, погляжу, всё знаешь. Не подашь ли совета доброго?

Первый страх успел миновать. Польщённая Розщепиха забыла убежать с торгового, забыла слушать чужой разговор, лишь повторила:

– Молви всё же, сестрица, как похвалить тебя?

Та шире заулыбалась, притянула к себе дочек:

– А жалуй-похваляй ты меня Путиньей, по батюшке Дочилишной.

Рядом с женщиной, живущей такой достойной и радостной жизнью, тревожиться о тёмных кривотолках сделалось невозможно. Розщепиха совсем оставила бояться, приосанилась, улыбнулась в ответ:

– Что же я, несметливая вдовинушка домоседная, бывалой страннице посоветую?

Путинья придвинулась ближе – поделиться заветным:

– Ты, сестрица старшая, всё купилице как есть насквозь видишь, кто добрый человек, а от кого мне дочурок подальше водить...

Розщепиха поняла. Кивнула с привычной важностью:

– Вот это подскажу. В том правда наша, чтобы девок беречь, мимо лихого глаза проводить. А что прикупить думаешь?

– Да вот слышала я, ткнут у вас дивные одёжки на птичьем пуху. Старухам босовики, чтобы ноги по-молодому плясали. Мужам плащи, в снегу спать, как у жёнки под боком. Девкам-славницам – знатные душегреечки. Чтобы выступали мои нёгушки, точно лебёдушки белые...

– Ох, красно молвишь, Путиньюшка, – заслушалась Розщепиха. – Как не ткать, ткнут! Это тебе к кисельнинским, у других даже и не смотри. Злые обманщики перья дерут, мелкопушье негодное за чистый пух с рук людям спускают...

Путинья вдруг склонила голову набок, прищурила один глаз, вслушалась. За ней насторожилась Розщепиха. В той стороне, куда убежал Светел, зазвенели струны, взлетели дружные голоса.

– Славный паренёк, – улыбнулась Путинья. – Из ваших вроде? Из твёржинских?

Розщепиха досадливо отмахнулась:

– Из наших... горе материно.

– А я думала, на деревне первый жених, – удивилась захожница. – Лыжи скопом продаёт, в гусли вон как играет. Отчего горе?

Розщепиха пристукнула палкой:

– Добрые люди домом живут, а у этого один разговор – из дому уйти!

– Ишь каков, – покачала головой Путинья. – Твоя правда, горе. Вразуми уж до конца, сестрица старшая! Я и то смотрю, по одёжке – сын Пеньков, а лицом...

Радость назидать, когда слушают.

– Где тебе пасынку на отчима похожему быть!

– Пасынку? Отколь же взялся такой?

Их беседа текла легко, гладко, приятно. Сестра сестру повстречала, не наговорятся никак. Уже шли об руку, Розщепиха неспешно вела гостью в ряд, где кисельнинские бабы торговали всякой пушиной. Дочки-скромницы безмолвно внимали, набирались ума.

– Отколь же взялся такой?

У Розщепихи вмиг сложился цветистый рассказ на удивление новой подруженьке. Про то, как молодой Жог, сам весь закопчённый, бегом прибежал в деревню с крылатой сукой, обвисшей в крови у него на руках. Будто мало ему было забот в день Беды, когда огненный ветер сдувал крыши с домов! А под ногами у Жого путались малец и щенок. Плачущие, напуганные. И на красном, опалённом теле мальчонки белело клеймо. Непонятное, затейливое, чужое...

Зубы, поредевшие к старости, всё же прикусили язык.

– Да сирота он без роду, – с безразличием отмахнулась Шамшица. – В Беду всех своих потерял, Пеньки и пригрели. Думали, второго сына себе в помощь растят. А он!..

Ристалище

Что страшней: в первый раз выйти и осрамиться перед своими? Или за всю Твёржу стыд принять перед чужими людьми?..

Начни думать про неудачу, пальцы корчей окостенеют, ноги сами собой назад повернут.

Светел взялся крутить можжевеловые шпенёчки ещё на бегу. Выскочив к ристалищу – сразу шагнул в круг. Перед ним расступились. Успокаивая дыхание, он привычно упёр в бедро пяточку гуслей, сунул левую руку в окошко, правой взялся за струны...

Испугался ещё больше. Лад звучал подозрительно верно.

«К добру ли...» Светел решительно свёл брови. Прошёлся между плетельщиками. «Что творю, куда вылез...»

Повёл наигрыш.

Гусли, наскучавшиеся в саях, загудели слышно и радостно. Люди оживились. Узнали песню. Стали притопывать, вразнобой выкликать слова. Светел воздел руку, лихо крутанулся на месте. Пошёл дальше вприпляс, точно весёлого ломая перед кулачным сражением. Громче ударил по струнам. Запел, приглашая, ведя за собой позорян.

Помолясь святым и правым,
Сущим в вечности Отцам,
Я прадедовским уставом
От начала до конца
Для живой воды колодец
Опущу в земную глубь
Да по солнечной погоде
На подклет поставлю сруб...

Эх, голос-корябка, обделённый плавностью и красотой!.. «А не нравится – ждите Крыла голосистого, или как его там!» К душевному облегчению Светела, у ристалища разом прибавилось таких же хрипатых. Степенные бородачи пополам с молодыми парнями тяжело, основательно выводили:

Будут дети, будет счастье,
Будет крепок новый дом.
Всё в моей мужицкой власти,
Коль Богами я ведом!
Домовой в своём подполе
Вьёт гнездо, мохнат и мал,
Чтоб избу любил и гóил,
А придётся – отстоял!
Света тьма не одолела:
Божий лик хранит свечу.
Если любишь, нету дела
Свыше сил, не по плечу!

Гусли – крылья летучие, песни – мысли сердечные... Светел переменял лад, свистнул, топнул.

– Девоньки красёнушки, бабоньки статёнушки, пособляйте!

И опять запел, смешно истончив голос. Женство сыпануло весельем, дружно грянуло, подхватило:

Помолясь святым и правым
Матерям, что нас хранят,
Я на радость и на славу
Шью любимому наряд.
Чтоб лелеял в теле душу,
Отгонял любое зло,
Чтобы грело в злую стужу
Вещих рук моих тепло.
Веретёнце я кружила,
Заговаривала тканьь,
Лишь бы мужа защитила:
Скройся, рана, кровь, не кань!
Ты узором обережным
Свейся, крашенная нить,
Чтоб любовь моя и нежность
Жизнь сумели сохранить!

Самый проворный плетельщик, седой щупленький мужичок, довершил стенки корзины. Напоказ перевёл дух... пальцы тут же заплясали вдвое быстрее, свили травяные стебли в косицы, тугим венцом опрятали край. Делатель заглянул внутрь, быстро ссёк торчащие комлики, выдернул колючий листок:

– Готово!

– Молодец, дядя Кружак! – похвалили его. Впрочем, состязатели не так уж сильно отстали.

– Готово... готово!

Корзины поплыли по рукам, их пытались мять, сдавливать. Светел приглушил гусли. Страх давно сменился задором, пальцы только размялись, он уже досадовал. Стоило принарядиться, чтобы поспеть к шапочному разбору!

– Всё, что ли? – спросил он, нащупывая за спиной чехолок.

– погоди, загусельщик, – посмеялась разбитная толстуха в кручинном уборе. – Теперь-то самое главное будет! Корзинам провёр!

Она звалась Репкой. Лицо – одни щёки, крепкие, румяные. За бабонькой плыл дух свежего пёчева. Репку числили первой на всём Правобережье калашницей. С калачами и на купиллице выезжала. Грузила в сани морожеными, потом отогревала и...

– Ты бы пока гусельки на плясовую строил, – посоветовала другая баба, рослая, худая, морщинистая.

Светел обрадовался, взялся за шпенёчки, слаживая звучание струн. Корзины, все семь, выложили кверху донцами в круг, к ним уже подталкивали хохочущих и смущённых девчонок. Совсем молоденьких, только вздевших понёвы.

– Давай, гусяр! Гуди гораздо!

Светел кивнул. Пустил наигрыш вначале неторопливо, затем стал как бы раскачивать, храбрить, украшать.

Добрый молодец поспешает,
Трое саночек погоняет.
Ждут его девоньки, ожидают красные,

Эх да погоняет!
Сам собою он черноусый,
В первых саночках – светлы бусы,
Будут вам, девоньки, на потеху, красные,
Эх да светлы бусы!

Девки одна за другой вскакивали на корзины. Топтались, приноравливались, водили руками. Гусли покрикивали, смеялись, ободряли, влекли. Светел снова вспомнил Ишутку. Тоже здесь радоваться могла бы. Плясать под гусельный перезвон, изведывая корзины. А Сквара взялся бы рядом похаживать, в кугиклы свистеть. И атя стоял бы с Жогушкой на плечах... старшими сыновьями гордился...

Он так тряхнул головой, что съехала шапка. Некогда было поправить её.

А вторые-то мчатся сани,
Всё на них заморские ткани!
Будут вам, девоньки, для нарядов, красные,
Эх да гладки ткани!

Какой вроде прочности ждать от корзин, сплетённых из прудовой травы? А вот выдерживали оставивших робость девок, не рвались, не мялись. Только одно донце явило слабинку, расселось под ногой. Золотая коса метнулась в воздухе, девка взвизгнула, плеснула руками... Весёлый парень не позволил упасть – прыгнул, подхватил, со смехом вынес из круга. Только мелькнул кожаный поршень с болтающимся остатком плетёнки.

Третьи саночки ветра легче,
Милой любушке мчат колечко!
Будет вам, девоньки, на завидку, красные,
Эх да ей колечко!

Ристалище кипело весельем. Корзины, уцелевшие с первой испытке, вернули плетельщикам. Делатели их оглядели, немного подправили, снова перевернули. В круг, охорашиваясь, важничая, искоса поглядывая одна на другую, поплыли взрослые бабы.

– Эй, гусяр! Оживай, ночью спать будешь! – крикнула тощая тётка. – «Лихо в Торожихе» давай!

Светел подкинул гусельки, хлопнул в ладоши, поймал. Подтянул одну струночку, пробежался по остальным, затеял наигрыш степенней и весомей девичьего, но тоже нескучный.

Как у нас на торгу в Торожихе
В старину приключилось лихо.
Рундуки озирали андархи,
Большакам выбирали подарки,
Да чтобы мы сами везли каждый год.
Да только никто не отдаёт,
Уходите вброд!
За Светыню зол народ,
Охраняет свой живот,
Кулаки одни суёт!

Эта песня тоже начиналась неспешно, потом набирала задор и под конец каждого круга неслась уже вовсю. А слова в ней когда-то были, как и наигрыш, бабьими. Про несбывшуюся любовь, про муку сердечную. После Ойдригова нашествия стали петь по-другому. И кому дело, что во времена тех войн ещё Торожихи-то не было.

Совет насчёт песни оказался удивительно верен. Плясовая поступь дебелих баб в очередь сминала корзины. Есть кому обнимать храбрецов. Есть кому их рожать. Есть кому ратью встать над Светынью одним плечом с мужиками!

Светел то вспыхивал гордостью, увлекался, горланил в полную мочь, то внутренне холодел, всякий миг ожидая крика в толпе: «Не твоё дело, выпороток андархский, тут петь!» И что возразишь?

Передайте царю со царицей:
За рекою ничем не разжиться!
Здесь живут небогато, но дружно,
А врагов привечают оружно.
Возьмётесь примучивать нас, северян,
Вам тумакими отвесим дань
И добавим ран!
Много разных в свете стран,
Тут лишь ёлки да туман,
Не ходи к нам, кто не зван!

Светел топал в землю, по-боевому воздевал гусли над головой. Люди отвечали криками: хоть сейчас на врага!

Да узнают цари и царята:
Здесь, на севере, люди крылаты!
Кто решится попробовать крови,
Пусть себе домовину готовит.
Не строит ни башен, ни каменных стен,
Но нипочём не согнёт колен
Коновой наш Вен.
Бабы ткут простой наряд,
Тонких лакомств не едят,
А и трусов не родят!

С этой испытке из шести пестерей уцелело два. Один выплел шуплый Кружак, тот, что первым кончил работу. Светел сразу понял: плясовых больше не будет. В круг выдвинулась толстуха Репка, обширная и грозная, как торос на Светыни. Когда её спрашивали, не со своих ли калачей нагуляла бока, Репка отмахивалась: «Да разве ем я их? Только пробую...»

Кружак с соперником стояли тихие, приробевшие. Мяли шапки в руках. Глядя на них, народ стал смеяться, сперва негромко, потом от души.

Светел исполнился удалства, выбежал навстречу толстухе. Сам пустился вкруговую, гусельки вызванивали торжественно, весело и победно. От него не укрылось, как съёжился дедок-скороплёт. Люди тоже это заметили.

- С юности, значит?
- Его атя не благословил, её за другого выдали...
- Теперь вдовы оба.
- Держись, дядька Кружак!

- Он как в Торожиху, так к ней всё с подарочками, с обхождением...
- Толку-то, раз к себе не зовёт?
- Вот теперь и покается.
- Топчи, тётя Репка! Всем покажи!

Светел вынудил гусли испустить неслаженный зов, тревожный, дрожащий. Дородная Репка окинула бывшего жениха таким взглядом, что тот сник совсем безнадежно. Она же придирчиво оглядела корзины. Поддёрнув подол, величественно вступила на другой пестерь.

Тот сплюснулся едва не прежде, чем Репка в полной мере на него оперлась.

Гусли отозвались заунывным всхлипом и смолкли. Корзинщик досадливо махнул рукой, отошёл.

Репка направилась к последнему уцелевшему пестерю. Ещё грозней уставилась на скороплёта. Под общее веселье Кружак упал на колени, как строитель моста при проезде первых телег. Прижал шапку к груди. Репка засопела, неумолимо занесла ногу...

Корзина затрещала... зримо просела...

И выдержала!

Наши избы стоят не в пустыне –
На широкой и быстрой Светыни!
Мы встречаем друзей калачами,
А врагов провожаем мечами!
И нам чужеземцы в дому не указ,
Сами с усами – и наш лабаз
Не для жадных глаз!
Никому да не унести
Нашу гордость, нашу честь,
Лучше вовремя отлезть!

Репка, подбоченясь, стояла на невозможно хрупкой опоре.

– Женюсь!.. – завопил Кружак и бросился ей на шею.

Этого корзина уже не снесла, пожилая чета в обнимку завалилась наземь, люди со смехом бросились поднимать.

- Тётя Репка! Калачиком угостишь?
- Угощу, милые! Всяк заходи, всем хватит!
- Сами есть будем, Ойдриговичам не дадим!
- Андархи нашим калачом подавились!

Жогушка парил высоко над землёй, сидя на тёплой и надёжной спине, в ямке между мощными основаниями крыльев, крепко держась за длинную гриву... Рыжик летал уже совсем хорошо. Язва от стрелы, попавшей в живот, была очень скверная. Вначале Рыжик совсем почти умер, но бабушка вытацила наконечник, а гной извела припарками, которые Жогушка помогал ей готовить. И Светелко две седмицы не покидал крылатого брата, держал ладонями рану... гнал боль, кресил в Рыжике жизнь...

Теперь Рыжик летел. Стремительно и легко рассекал ледяной простор высины. Лишь качались, мелькая внизу, заснеженные поляны.

И пахло от него совсем как от Зыки. Он говорил с Жогушкой, голос отдавался внутри головы, низкий, рокошущий, полный вернувшейся радости. Как здорово!

А вот то, что где-то рядом слышалась мамина речь, внушало тревогу. Если мама увидит его у Рыжика на спине...

Жогушка открыл глаза.

Он лежал рядом с Зыкой, запустив руки в мохнатую шерсть.

– Дома тебе не пироги? – укоризненно спрашивала мама. – В людях песнями добываешь?

Жогушка повернулся. Братище, почему-то взмыленный, в нарядном кафтане, держал большую корзину. Слегка надломленную, но выправленную – и полную лакомой снеди. Жогушка проглотил слюну. Чего там только не было! Калачи, пряженцы, сдобная перепеча...

Светел пожал плечами:

– К столу не придется, Зыку пораду.

– Синява-кузнец приходил, – сказала бабушка Корениха.

Перед ней на доске стоял Воевода. Доделанный, но безоружный. Светел сразу спросил:

– А меч где? Сломался?

– Синява унёс. Железных хочет наделать. И на броню чешуек пообещал. Сказывал, все вдруг таких кукол хотят.

Светел кивнул, поставил корзину. Положил гусли, сел сам. Зыка шевельнул хвостом, поднял голову. С надеждой облизнулся.

Светел сжал кулаки и долго рассматривал их.

– Люди говорят, – произнёс он наконец, – в Шегардае Ойдриговичи объявились. Значит, скоро нового нашествия ждать.

Бабушка тихо отозвалась:

– Будет то, что будет... даже если будет наоборот.

Светел передёрнул плечами. Вышла судорога, как от озноба.

– Вот... мыслю, пора уже мне пришла, – выговорил он так сипло и тяжело, что Жогушка устался на брата во все глаза. Тот прежде никогда так не говорил. А Светел продолжал: – Идти... пора мне. Вельможам объявлюсь... – Сглотнул. – Чтобы война вправду... нельзя!

Далёкий славный поход, ещё вчера надлежавший нескорому будущему, обернулся бездной под ногами. Страшно шагнуть в неё, ведь обратного хода не будет. И не шагнуть нельзя. Потому что Ойдриговичи хотят идти на Торожиху и Твёржу. На Кисельню с Затресем.

На его, Аодха Светела, родную страну.

– Дитяtko, – ахнула Равдуша. Бросилась к сыну, он её обнял. Маленькую, хрупкую на его широкой груди.

Корениха долго разглядывала хмурого внука, плачущую невестку. Взяла из корзины лепёшку. Откусила, пожевала, кивнула: понравилось.

Спокойно сказала:

– Глупые вы. Жога вот нету по уму рассудить! Ишь взметались! Хоть Геррика дождитесь, послушайте, что донесёт. А я, старая, вам так скажу. Им, в Шегардае, дела нету другого, только нас воевать! У самих одёжа рогожа да куль праздничный!

Светел выпрямился. Выдохнул. Взгляд был всё ещё незнакомый. Равдуша всхлипывала безутешно. Жогушка подобрался к матери и брату, ухватился – не оторвёшь. Подошёл Зыка, влез лобастой головой Светелу под локоть.

– Ну вас, дурных, – буркнула Корениха. Отложила кукол, пересела, тоежь всех обняла.

Тут зашевелилась входная полсть. Внутри посунулся знакомый длинный нос на маленьком личике.

– А я уже думаю – отчего пусто снаружи, не торгует никто?

Корениха с укоризной посмотрела на Зыку, оставившего порог. Впрочем, Розщепиха уже заметила корзину со сдобным заработком Светела.

– Я-то беспокоюсь, всего ли у вас, двух вдовинушек, в достатке...

– Вдовы, да не сирые, – ровным голосом отмолвила Корениха. – Заступник в доме есть, не позволит голодом изгибнуть. Ты угощайся, сестрица.

Вдругорядь потчевать не пришлось. Розщепиха нагнулась, высматривая пирожок порумяней. Вспомнила, повернулась:

– Ты, сестрица Ерга, в людях сведома... Подскажешь ли, Нетребкин острожок – где это? Бабушка задумалась, покачала головой:

– Не слыхала ни разу.

– Так-то вот, – приосанилась довольная Розщепиха. – И никто не слыхал. А у иных там подруженьки есть!

– Я тебе про гусей-лебедей обещал, – сказал Светел братёнку.

– Про боевых гусей? Как они дружиной ходили?

– Ходили бы дружиной, кто бы их в хлевки запирали. Я тебе другое поведаю.

– Как они в светлый ирий летят? Гусярам гусли приносят?

Светел улыбнулся:

– А ещё детей в семьи, где по Правде живут.

– И меня? Меня лебеди принесли или гуси?

– Гусь на свадьбе весёлый жених, – начал объяснять Светел. – Лебедь – невеста в белой кручине. Гусь – драчун, лебедь – от Богов милость. Гуся мы печём и коптим. А лебеди, вона, в Кисельне с людьми в одном хлебе живут.

– Бабушка говорила... андархи...

На Коновом Вене лебедя считали царь-птицей, немислимой для убийства. В стране, где правили предки Светела, лебедь был царской дичью. Птиц, священных для северян, били стрелами, подавали на богатых пирах.

– Андархов наши старики уму не учили... Вот вам сказ про век былой: жил добытчик удалой. На широкое болото выходил он на охоту, поразмяться, погулять, серых утиц пострелять. Раз вечернею порою, многошумною весною мчался лебедь в небесах, нёс рожденья на крылах...

Жогушка смотрел в облака, где незримо взмахивали белые крылья.

– Злой охотник вскинул око, а за ним и лук жестокий. Он руки не удержал, чудо-птицу поражал. В небесах стрела мелькнула, в белых перьях утонула! Помутились небеса, плачут синие леса! Лишь стрелок не дует в ус: «Будет деткам мяса кус!» Гордым шагом...

– Так он для деток старался?

– Для деток. Только лучше не поесть, чем утратить стыд и честь. Не задумавшись о том, гордым шагом входит в дом: «Эй, жена, берись за дело!» Баба глядь... и обомлела! Вьётся вихорь по двору, в круг кладёт перо к перу! Тут ребятки прибежали, белым пухом обрастали, улетали выше, выше, мать с отцом, уже не слыша, уносились в небеса... Вот такие чудеса. С той поры лебяжье племя облетает злые земли, убоявшись отвернуть, к нам на север держит путь! Мы ребяточек рожаем, лебедей не обижаем!

– А тебя? – спросил Жогушка. – Тебя симураны принесли?..

Жало

Это были совсем маленькие мальчишки. Сироты Левобережья, привыкшие к нищете и побоям. Обсевки Беды, почему-то забытые на этом свете Владычицей, милостиво прибравшей семью.

Люди стараются исправить упущение Правосудной. У каждого своих семеро с ложками. А тут ещё эти. Смотрят в глаза. На чужой кус рты разевают. А баба Опалёниха, что ловко умеет изгнать ненадобный плод и под рукой умиральными рубашечками торгует, – как раз когда нужна, не заглядывает.

Куда девать дармоедов?

Кого-то выводят в тёмный лес без следа.

Других сбывают переселенцам.

Третьих, случается, забирают мимохожие котляры.

Чёрная Пятерь с её суровыми науками тоже по головке не гладит. И подзатыльники сыплются, и холодница пуста не стоит. И ох как страшно бывает! Зато есть кому предаться с нерассуждающей ребячьей любовью. Есть старшие братья. Есть цель.

Четверо новых ложек со свистом раскручивали пращи. Каждый, наученный голодухой, умел в летящую пичугу попасть. Да не обожжённым круглым боем, как иные маменькины сметанники. Любым камешком, крепким снежком, обломком сосульки!

Всё без толку.

Старший ученик не прикрывался щитом, не убегал за снежную стенку, что разгораживала лесной городок. Его просто не оказывалось там, куда желваками влипали усердно пущенные снаряды. Серая тень легко поворачивалась, скользила, угадывала намерения каждого из четверых... как будто приплясывала... Из боевого лука не уязвишь!

Возле длинной окраины городка, где жвакали тетивы, испытывалось бесконечное терпение Ветра.

– Господину Инберну скоро на шегардайское державство в путь собираться, а преемник, как выяснилось, толком стрелять не умеет. Ещё пробуй! Если глаз видит, стрела должна досягать!

Лыкаш пробовал, чуть не плача. Он, ясно, самострелом владел на зависть мирянам. Но не так, как хотелось учителю.

– Державец в замке третий по старшинству! – корил Ветер. – Подступит под стены враг, я в плен попаду, Лихарь, меня выручавши, смертью погибнет. Тебе отпор возглавлять, а кто слушать захочет, если ты у мишени последним стоял! Ещё пробуй. Крепче старайся!

Лыкаш старался. Что было сил. Получалось – из рук вон. Глазок мишени двоился, плавал то ли из-за начавшихся сумерек, то ли от слёз. Поклятый самострел никуда не годился, стрелы были кривые. Источник в сотый раз показывал сам. Тем самым оружием, из того же колчана. Расшибал один болт другим.

– Ворон! – окликнул он наконец. – Наскучишь в жмурки баловаться, сюда подходи.

К тому времени каждый из новых ложек поклялся бы: молодой наставник впрямь похаживал перед ними зажмурясь. А ещё он по прихоти оборачивался струйками пара, снежными пеленами. Неминучие ядрышки так и пролетали насквозь. Шмякали в стенку, не рисуя на сером заплатнике никакого следа.

Зов учителя побудил Ворона припасть к самому снегу, неожиданно метнуться вперёд. Очередные комья свистнули роем на аршин выше потребного. Пока ребятня хваталась за новые, стелющийся лёт завершился широким волчком. Рукой, ногой, не пойми как, – сшибло всех. Четверо мышат, отплёвываясь от снега, трепыхались в одной охапке. Настолько вещественной, что было даже обидно.

Ворон стиснул мальчишек, принудив заверещать. Немного испуганно, но и весело.

– Дяденька! Ты от прашных снарядцев заговорённый?

– Ага, – засмеялся он. – Накрепко. И от болта самострельного, и от калёной стрелы.

– А нас заговору научишь?

– Будете прилежно стараться, научу.

Выпустил, вскочил, убежал.

– Видел ли, каково лукает? – встретил его Ветер.

– Видел, отец.

– Вот тебе орудье неисполнимей доселешних. Обучишь, чтоб с лучины на лучину огонь стрелой доставлял. Через две седмицы спрошу. Совладаешь?

– По твоему слову, отец, Владычице в прославление. Совладаю.

Лыкаш стоял пристыженный, несчастный. Таков воинский путь! Взяли в кузов – и не отмолишься, что не груздь. Одно добро, Ворона приставили наторять. Не из лихаревицей кого.

Ветер кивнул на новых ложек, сбившихся в пугливую стайку:

– Веди домой, гнездариче, чтобы не заплутали. Прочь с глаз!

Когда Лыкаш с младшими надёжно скрылись в лесу, Ветер вновь обратился к ученику:

– Я тебе доверился, сын.

Над боевым городком как будто враз потемнело. Стужа, добравшаяся до распаренных тел, сделалась ощутимей.

– Да, отец.

– Срок приблизился. Я в твоей власти.

Ворон сглотнул. Кивнул. Сунул руки под мышки.

– Я уже чувствую дыхание Владычицы, – продолжал Ветер. – Ноги норовят подогнуться, в мыслях ясности нет...

Ворон, конечно, это тоже заметил, но спросил иное:

– Зачем ты всё время доводишь себя до пределов, отец? Я мог выдернуть жало ещё вчера...

– Если пределов не искать, после нечем будет и хвастаться. Готов, сын?

– Да, отец. Я готов.

Учитель разомкнул пояс, мерцавший тусклым в сумерках серебром. Стянул, завернув на голову, выдавший виды кожух. И вдруг отчаянно-весело рванул ворот рубахи – только затрепало толстое портно.

– Давай, сын!

Ворон прикрыл глаза, добиваясь полного сосредоточения. Длинный палец почти неосознанно коснулся межреберья... Коротко и резко ударил, вонзился, вошёл железным гвоздём, казалось, в самые черева, в сплетение беложилья! И отскочил, выдернув нечто злое и мёртвое. Способное взаправду убить.

То, что по приказу учителя сам же подсадил третьего дня.

Ветер покачнулся. Ученик подхватил его.

«Мальчик... Скоро ты будешь знать и уметь всё, что благоволением Правосудной отпущено мне. А там – превзойдёшь. Взмоешь в небо из-под крыла, полетишь дальше. Как предупредить тебя, сын, что спина впереди – слишком заманчивая мишень?..»

Вслух сказал:

– Пусти уже, лекарь! Теперь и без помощников не свалюсь.

Но Ворон отпустить не спешил:

– Ты сказал: лекарь. Значит, слушайся. Садись в чуночки, довезу.

Бросил на плечи алык, пошёл ровным сяжистым шагом, словно вовсе и не устал. Скорей, скорей учителя в тепло, к доброй еде!

Когда миновали выход из городка, Ворон всё-таки подал голос:

– Если позволено будет спросить...

– Спрашивай, сын.

– Отчего не разрешаешь приблизить меньшого ученика? Я Иршу с Гойчином сам привёл...

– Оттого, что ты их не тайными воинами взрастишь, а тайными скоморохами. Да не гони так! Не повитуху к роженице мчишь!

Санки выбрались с ухабистой тропы на дорогу. Ветер сел нога на ногу, закутался в шубу, пообещал:

– Расскажу кое-что, если оставишь по кочкам душу вытряхивать.

Ворон оглянулся через плечо. То правда святая: дорога не дорога без назиданий учителя. Он только не ждал, что Ветер и сегодня разговорится.

– Ты многого достиг, сын. Теперь, когда ты научился вселять и по произволу изгонять смерть, пора тебе причаститься такого, о чём в летописаниях не рассказано.

Ворон подумал, отозвался:

– Я видел родословные книги великих семей. Там страницы вынуты, чтобы от хуливших Владычицу не осталось имён. Ты о них?

– Не совсем, – усмехнулся Ветер. – Память наших книг тянется в тысячелетнюю древность, к Эрелису Первоцарю, основателю Андархайны. Что говорится о нём?

Это было легко.

– Нёсший орлиное имя приехал на огнегровом коне, возглавляя храброе войско. Взял под крыло племена, не ведавшие закона и правды. Дал им устройство, отбросил диких языков, рекомых ныне хасинами. От Эрелисова рода начали прозываться андархи.

– Не ведавшие закона и правды! – словно размышляя вместе с учеником, повторил Ветер. – Что ещё сказано о тех племенах?

– Ели в нечистоте. Мяса вонючего не гнушались.

– Как истолкуешь?

– Ну... Руками, зубами. Подбирали стерву лесную. Не умели сварить.

Ветер вздохнул:

– Варить они как раз умели очень хорошо. За что и поплатились.

– Это как?..

– А вот как. Эрелис приехал в кибитке из украин Вечной Степи. Оттуда, где ныне горы Беды. Андархи жили в сёдлах, стреляли дичь, жарили на углях. Если добывали зерно, опять жарили, чтобы съесть. А в избах лесного края клали печи, варили мясо в горшках. Хлеб пекли.

Ворон силился обозреть бездну времён. Между прочим, в его родном языке «вонью» звался любой запах, добрый или дурной. Андархи, стало быть, не поверили запаху варёного мяса. Доброму хлебному духу. Оробели, на всякий случай назвали нечистотой.

– Учитель, ты говоришь как самовидец, – пробормотал он затем. – Но ведь летописания... ты сказал...

– В летописаниях, сын, страницы выдёргивали не раз и не два, облекая деяния прошлого в угодные ризы. Если война, так правая и неравная. Если со свету сжили, так злодеев.

– Зачем? Ты нас остерегал собой любоваться...

– Затем, что всякий хочет быть чист. Я девку не сильничал, сама подошла! Я чужого не отбирал, они первые начали!.. За красивыми баснями правды дознаться – знаешь, сколько труда? По листку, по обрывочку...

Ворон представил сокровищницу вроде той, что хранила Мытная башня. Тусклый свет в заросшем грязью окошечке. Книги, книги повсюду. Стопками, полами, огромными сундуками! На страницах ржавые пятна...

– Ты же смог.

– Я знаю лишь чуть больше спесивых мирян, уверенных, что по праву владеют этой землёй... Пришельцам из степи не только пища Прежних показалась нечистой. В сосновых избах бок о бок с людьми обитали крылатые псы, и это возмутило андархов. Первые Эрелисы и Гедахи столь яро взялись охотиться на симуранов, что едва не истребили под корень... О чём думаешь, сын?

Он ждал взволнованного: «Отец, симураны дружны с праведной семьёй! С последышами тех самых Гедахов! Они же... Аодха-царевича...»

Не дождался.

«Владычица, дай терпенья...» Пришлось спросить:

– Вы на Коновом Вене как себя называете?

– Ну...

– Ведь не дикомытами?

– Дикомытами нас левобережники прозвали.

– Давно?

– После Ойдриговых нашествий, за то, что в полон не дались.

– А сами кем речётесь?

Ворон вновь надолго умолк. Наконец как-то стыдливо произнёс заветное:

– Славнуками.

– Славнуками!.. – безо всякого почтения развеселился котляр. – Матерь Царица, помилуй Левобережье!

Ворон ждал, неуверенно улыбаясь.

– Гнездари, – сказал Ветер, – так завидных женихов называют.

– И правильно, – буркнул Ворон. – Порно им Коновому Вену завидовать.

Его племя искони считалось беспортошным, зато упрямым и гордым.

– Меж собой как имя толкуете?

– Внуки славных. Славные внуки. А иные спорят, будто вовсе там не «слава», а «слово».

Впереди плотной глыбой обозначился крепостной зеленец.

– Скоро ли думать выучу? – вздохнул Ветер. – Чьи внуки?

– У нас старины передают. Некогда из-за Светыни вышел народ. Наши глядь с берега, а там старики да детные бабы. Мужики наперечёт, в ранах. Тогда мы подняли над героями щит...

– Не морозь, краснобай, – весело перебил Ветер. – Прямо так сразу хлеб преломили? Лучшую поляну показали в лесу?.. Не бывает, чтоб храбрецы с храбрецами сошлись, а мужеством не переведались!

– Ну... Наверно. Всё равно во внуках крови смешались.

Сквозь туман посвечивали огоньки. На последнем снегу Ветер легко спрыгнул с чунок.

– Что я должен был постичь, отец? – спросил Ворон. – О чём задуматься?

«О том, надо ли хранить тайну царевича Аодха, если тот был вправду спасён...»

– Я хочу, чтобы ты понял: нет лишнего знания. Были на этой земле цари и прежде Эрелисы. А ещё люди, вовсе не обделённые умом, ждут, что общая Беда опять врагов братьями сделает. Как мыслишь, сын? К душе вашим девкам жарые кудри?

Ворон сбросил алык, понёс чунки под мышкой.

– Я давно не был на Коновом Вене, отец. Не знаю, о чём там песни поют.

Как обычно, дорога из лесного городка кончилась слишком скоро...

Крыло

Рано поутру за Светелом прибежали мальчишки:

– Гусяр! Где гусяр?

Светел на всякий случай напустил строгость:

– Куда ещё? Опять корзины топтать?

Оказывается, вчерашняя потеха так удалась, что кто-то придумал пустить в дело оставшуюся траву. Сегодня из неё собирались взапуски плести лапти. И конечно, плясать в них. Пока не развалятся.

Рука сама потянулась за берестяным чехолком.

– Благословишь, мама?

Мать с бабушкой переглянулись. Вчера Светел едва не почувствовал себя взрослым, вольным решать. Правил людское веселье. Даже судьбу вздумал поторопить. Ночь минула – вновь он дитяtko неразумное, по своему хотению из шатра ни ногой!

– Ступай, сыночек, – сказала Равдуша.

Корениха вдруг улыбнулась:

– Жогушку возьми с собой. Пусть будет мальцу что дома вспомнить.

Лапти всякий умеет плести. Из берёсты, из лыка, даже из мочала. Из еловых корешков, из битых веточек, из старых, отслуживших верёвок.

– Миновалось ремесло. Люди валенки да поршни обули.

– Которое лето ни берёсты, ни лыка не нарастает.

– Я вот сына и не учу. Кому оно теперь надо?

– А я научил. Умение не в кузове за плечами носить.

– Вот правильно. Пока дедовских вер не утратим, земля стоять будет.

Девки смеялись, запускали пальчики в кармашки-лакомки, озорно блестели глазами. Им снова предстояло плясать, разбивать утлые травяные плетни. Ристателей, кстати, было куда больше против вчерашних семи. Светел считать даже не стал. Увидел в кругу Зарника, обрадовался.

– Я у тебя лыжи возьму, – сказал Зарник.

– Продал я уже все.

– Ну вот...

– Вернусь, сделаю. Тебе ирты или лапки?

С колодками, с кочедыками сидели всё молодые ребята. Плетуханы постарше, давно себя утвердившие, держались по сторонам.

И все, будто кулачные бойцы на Кругу, напряжённо ловили каждое движение гусяра! Ждали, чтобы Светел дал радению порядок и смысл! Вплёл во вселенские круги. Определил на должное место.

Опёнку даже показалось, будто здесь собрались не умения сравнивать, а к сгинувшему солнцу взывать. «Когда явишься? Когда тучи разгонишь, живой лист позволишь увидеть? Чтобы не круглый год по снегу в валенках, а в лёгких босовиках да по шёлковой мураве...»

Согласились плести домашние лапотки-ступни.

– Ступни? – испугался незнакомого слова захожень с левого берега.

– Шептуны по-вашему, – объяснили ему. – Бахилки. Топыги. Босовики.

Светел поймал кивок старика-коновода. Тронул струны.

Ах ты, пень еловый, твёржинский мужик,
На завалинке посиживать привык!

Плетуханы стали хватать стебли, торопливо заплетать на правом колене. Быстро погнали вниз строку за строкой.

А не стыдно, не зазорно ли тебе:
Молода жена босая во избе!
Нешто можно, чтоб ходила не в чести?
Ты садись, ленивый, лапотки плести!

Люди начали смеяться, показывать пальцами. Светел тоже присмотрелся, обученный кулачным Кругом всё замечать. Зарник счёл доставшуюся траву слишком ветхой. Вгорячах пустил в строку пучки потолще... и на полпути к носку обнаружил: завивает не босовичок для девичьей ножки, а бахилищу для кузнеца Комара. Бросить, новый лапоть затеять?..

– Ступай коверзни плети! – кричали ему.
– Гусю лапчатому только краснотал мил...
Злой и багровый Зарник сгорбился над работой.

Ты подай, сестра, булатный кочедык,
Надери да нацинуй мне ровных лык!

Всего веселей шла работа у паренька чуть взрослей Светела. Молодой плетухан улыбался, дёргал из вороха стебель за стеблем, обратив к низкому туману корявое слепое лицо. Поспевал болтать с девкой, что вывела его на ристалище. Только руки летали, выплясывали. Плавно, ненатужно и зряче.

Светел загляделся, чуть наигрыш не испортил. Между прочим, волосы у парня были тёмные, почти Скварины. Широкие плечи, руки сильные, к праздности непривычные. Может, это его увидела Розщепиха, за попрошайку сочла? «Так, мол, с дурными сыновьями бывает. С отбоишами, с бездельными околотнями...»

Вот ведь лодырь не на радость нам возрос!
Баб да девок отправляет на мороз!

Кто-то вчерне заложил первый лапоть и уже закладывал второй, чтобы строк потом не считать. Кто-то уверенно подковыривал, пускал второй след.

Кочедык-то ветхий дедушка терял,
Закатился во глубокий он подвал,
Подхватили его мыши на лету,
Набежали, утащили в темноту!

Народ сдержанно гудел, приглядываясь к работе ещё одного плетухана. Этот выложил травяные пучки рядком. Завил верёвочкой, как донце корзины. Получалось нарядно, вот только урочным пятериком и близко не пахло. Каково-то старосты примут, каково-то будет в пляске хорош!

И берёсты не наколешь: до реки
Погорели, легли березняки...

Жогушка, уже завладевший обрывками травяных стеблей, выравнивал на колене заплётку. Дома брат его к плетению не пускал. Учил ровно резать берёсту. Ворчал, что не цины выходят, а сплошная растопка.

Светел вновь нашёл взглядом Зарника. Оказалось, тот придумал стянуть крайние пучки, согнуть плоский плетень корытцем. Осталось заложить головашку.

Светел не знал даже, чьей победы желать: верёвочника, Зарника или слепого. Ещё хотелось прихватить стеблей, вернуться в шатёр, самому засесть с кочедыком.

Ну тогда и лапти нудить не моги:
В Торожихе всем куплю я сапоги!

Он угадывал настроение позорян, смекал, в какую сторону качнуть их очередной песней. Видя, как головы, особенно которые с русыми косами, поворачиваются прочь от ристалища, Светел решил сперва, что плохо тешит народ. Однако расслышал:

– Ялмаковичи подвалили.

– Крыло с ними?

– Крыла видели?

– Видели! Сюда идёт!

– Ялмаковичи, – повторил один из мужиков у Светела за спиной. Ничего не прибавил, лишь крикнул. То ли досадливо, то ли смущённо. Опёнку недосуг было разбираться.

«Вот она, честь воинская!» Когда-нибудь и Светел войдёт на купилище в цветном налатнике, под истрёпанным, пробитым стрелами знаменем. И будут млеть девки, а парни – завистливо сжимать кулаки...

Работа у плетуханов была примерно на середине. Светел помимо воли начал коситься в ту сторону, куда стайками утекали лапотные испытчицы. Сперва там по-прежнему юрил и шумел торговый народ. Погодя за шатрами наметилось течение. Вот стал слышен звон чужих гуслей... В окружении влюблённой толпы подходил незнакомец в богатом синем плаще.

Теперь на него смотрели уже все. Замедлили пляску даже руки слепого, парень вслушивался. Светел заколебался: продолжать как ни в чём не бывало? Остановиться, почтить пришлое вместе с людьми?.. Пока он раздумывал, его окликнул староста:

– Эй, малый! Ступай, будет с тебя.

Струны неладно звякнули под рукой. Светел споткнулся на полуслове, забыв разом все песни, которые собирался ещё спеть. Просто молча глядел, как здоровствовали Крылу. В горле что-то застряло, он сглатывал, не мог толком сглотнуть.

Гусляр входил на ристалище по-хозяйски. Синеглазый красавец, разодетый, точно на свадьбу. И гусли у него даже с виду были Светеловым не чета. Не дедушкиным топором тёсанные. Широкие, о пятнадцати струнах, искусного андархского дела, с резьбой по стенке корытца.

Как подружки собирались
Летней зорькой во лесочке,
Песни
Заводили до утра...

Крыло не пел по-настоящему, в полный голос. Так, припевал на ходу, чтоб не скучно было шагать. С каждой девкой успевал встретиться взглядом. Девки таяли свечками. Каждой мнилось, будто два клочка полузабытого неба сияли лишь для неё.

И на ристалище Крыло вышел уверенный: здесь только его ждали для настоящей потехи. Поклонился старостам и народу. Откинул за спину плащ. Поудобней устроил на ремне гусли...

Свисшую ладонь Светела принялись тянуть детские руки. Жогушка! Он один из толпы не паялся на Крыла, не таил дыхания, собираясь слушать его. Братёнок держал кривой, с сорока ошибками, но годный для ходьбы лапоток. Улыбался во всю рожицу. Протягивал братищу творение своих рук.

Светел подхватил малыша. Повернулся, не глядя пошёл прочь. «Другой раз в Твёрже гусли покину. Без вчерашних пирогов не голоден ходил...»

Жогушка обнял его за шею, прижался, шепнул:

– Я тебе семеры лапти неизносчивые сплету. Чтобы ноги сами шагали, пока брата найдёшь!

Тёплая волна умыла Светела, забирая обиду. Может, взять немного вичья, без откладки начать торить Жогушку?

На ристалище тем временем улеглись восторги. Состязатели, запнувшиеся в работе, подхватили кочедыки. Крыло ударил по струнам. Ему ли замечать, как выставили мальчишку!

...Только что же за веселье
Да без гусельного звона,
Если
Струны вещие молчат!
Как подружки посылали
Быстроногую плясунью
Кликать
Молодого гусяра...

Голос Крыла мощно и легко плыл над купилищем. Заставлял оглядываться людей в самых дальних рядах. Светел тотчас понял: ему никогда так не спеть, как он ни бейся. Вновь больно уколола обида. Ну вот почему?.. Почему этот Крыло в любой дружине желанен? – а иные и под лапотное ковыряние играть недостойны?.. Светел нахмурился, раздумал идти в шатёр. Вернулся в толпу. Начал пробираться туда, где смеялись, пели, славили сердечную встречу звонкие андархские гусли.

Совсем как те, что некогда рокотали во дворце над морским берегом, вторили голосам волн... направляли царские мысли... почему трёхлетний мальчонка не догадывался прислушаться, присмотреться?

Злая буря хлещет градом,
Рвёт черёмухи убранство,
Вянут
На морозе лепестки...

Для самых молодых «черёмуха» была не очень понятным словом из прошлого. Но раз Крыло поёт, значит так надо.

Гусли захлёбывались человеческим стоном.

По синему плащу струился богатый канительный узор, мягкий чёрный сапожок легонько притопывал. Парили над струнами белые, сильные, красивые руки. Люди охотно подпевали гусяру, но Светел, замерев, мог лишь смотреть, как взлетали длинные палыцы. Вылепляли в воздухе звуки, передавали сутугам. Дед Игорка был первый на всю Твёржу гудила. Однако подобное творить его старческие персты давно разучились. А скорее всего, никогда и не умели.

Ах вы, милые подружки!
Что мне делать, горемычной?

Только
В тёмный омут головой...

Светел боялся моргнуть, руки самовольно подёргивались. На чужое умение пялиться без толку. Не усвоишь, пока сам не изведает. Скорее бежать к себе... пытаться подхватить... примеривать на свой лад...

На верхней полочке гуслей, под разлётом струн, пернатым гнёздышком улеглись андархские письма.

Крылья лебединые, щёкот соловьиный, сердце сокольё.

Игрец прозвался по гусям или гусли по игроку?

...А как, доканчивая песню, он отрешённо клонил голову на плечо! Как метал в сторону и вверх бряцающую руку, словно гúлы отпуская на волю!..

Ещё Крыло успевал подмигивать девкам и молодым бабонькам, озорно кивать мужикам. Его взгляд не обошёл парня, державшего на руке братёнка, а под мышкой – затрёпанный чехолок. Крыло усмехнулся. Может, с превосходством, может, себя в отроках вспомнил.

Светел в лицо ему не смотрел. Не видел усмешки гусяра, не гадал, что она означала.

Чужая недоля

В свой шатёр Светел прибежал как настёганный. Скорее вновь вытряхнуть гусли: как-то им придется подсмотренные ухватки! Он даже не обратил внимания на недовольного Зыку, сторожившего Коренихин рундук... а зря. Мама с бабушкой были не одни. По другую сторону очажка на войлоках, держась за руки, тихо сидели двое. Крепкий светловолосый мужчина и маленькая заплаканная женщина. При виде Светела оба так и подпрыгнули. Уставились на него. Друг на друга...

Он поклонился им как подобало. Спустил наземь Жогушку. Тот юркнул к Равдуше – показывать лапоток. Гостья отчаянно, горестно и жадно уставилась на малыша. Карие глаза опять наливались слезами. Ни дать ни взять узрела родного сынка, воспитанного иной матерью и внезапно нашедшегося. Она даже потянулась к чужому дитяти, робко, пугливо. Равдуша вдруг всхлипнула вместе с нею... и почему-то дозволила погладить Жогушку по голове. Женщина вскинула взгляд на Светела. Вздогнула, спряталась у мужа на плече.

Тот её обнял. Он глядел почти как сам Опёнок давесь – на слишком удалого и даровитого гусяра.

Светел косился то на своих, то на гостей, стоял столбом. Тщетно силился понять, что стряслось. Казалось, в шатре только что говорили о нём. Непонятно как, такое чувствуется всегда.

Корениха, по обыкновению, взялась за дело, с которым Равдуша не мыслила совладать.

– Пойдём, внук, – проворчала она, поднимаясь. Властно взяла Светела за руку, вышла с ним из шатра. Оказавшись снаружи, требовательно спросила: – Ты их о́знаки рода верно ли разобрал?

Он с облегчением кивнул. Скривился в ухмылке:

– Они эти... – Прижал одну руку, вторую оттопырил локтем по-птичьи. – Ан...

Хотел сказать «андархи», потому что во время давних войн род Облачной Птицы единственный попал под нашествие, отчего в злых устах по сей день звучали насмешки.

– Цыц! – перебила бабушка. – Я те позубоскалю! Недоля у них в роду приключилась.

– Хуже той прошлой?..

– Лебеди давно над избами не летают. Деток мало ведётся.

«А не надо было после плена скопом рожать, да в чужую породу...»

Корениха услышала его мысли:

– Молчи, дурень! Ума не нажил рот раскрывать! Это после Беды случилось.

Бесстыжий внук всё же буркнул:

– После Беды каждый род оскудел...

– Мы кручинимся, что по семеро сынов ложками не стучат. А у них половина мужей с жёнами понимаются... совсем вотще. Приметил, как она к Жогушке потянулась?

Светела накрыла догадка. По спине морозом пробежал ужас, в глаза метнулась белая вспышка. Кулаки сомкнулись гирями.

– Они... Жогушку? Себе просят?.. Я им... я их...

«Покалечу! Смертью убью! Ноги приделаю, что без пяток за Светынь убегут! Сам помру – не отдам!»

Едва не рванулся назад в шатёр.

«А если атя им обещал... за какую-то службу... нет... Сквара...»

Остановил его тихий смех Коренихи.

– Угомонись, внук. Рано полыхать. Не на Жогушку они глаз положили. – Вдохнула, пояснила: – На тебя, Светелко.

Он опять сначала не понял:

– На меня?..

«Ещё выдумали! Куда я им? Только жду, чтоб Жогушка подрос... мне в дружину...»

Корениха перестала улыбаться. У губ обозначились всегдашние суровые складочки.

– Ты молод и раж, Светелко. Вот что слушай. Подсивер со Свеюшкой обра́чились в год Беды, но она не затяжелела. Молилась, добрые зелья пила... обрекалась хоть родами умереть... Отчаялась. – Бабушка вздохнула, помолчала, продолжила: – Сама мужа уговорила пойти ко вдовушке молодой, дётной. Пусть бы родила от него. Второй женой в дом вошла.

Что-то надвигалось. Светел молча слушал. До сих пор ни Равдуша, ни Корениха с ним таких речей не водили. Атя, верно, мужскую премудрость передать мог... да что теперь.

– И не понесла вдовица, – сказала бабушка. – Сmekнули тогда: это мужу в родительской доле отказано. Они сюда приехали невместного товару искать, Светелко. И нашли. Глянулс ты им. Челом бьют, ува́жить молят. В лютой горести выручить. Ты, мой внученько, мужевал ли когда? Девки в уста медовые целовал?

Вот это остолбуха была! Светел постиг наконец, чего промышлял в Торожихе несчастный сын несчастного рода. Насупилс. Взялс краснеть. Мучительно, тяжело, жарко. Так что на ресницах выступила роса.

– Я... – кое-как сумел выдавить. – Я... Крыло вон пригожий! Все девки срам оставили, женихов позабыли!

– Крыло? Этот щеголёк, верно, девок перебабил довольно. Да на что Свеюшке взгляд его синий?.. А вот твоей крови отливушек в Подсивера может потянуть. Глазом, волосом. Зря ли они два дня за тобой следом ходили. Ступай, Светелко.

Он аж охрип, шалея от неумеренности происходившего:

– Куда?

– За шатром полог натянешь.

Светел заново озяб. Тут же взмок ещё жарче, решил заартачиться. «Не хочу так!..» Он, конечно, мечтал однажды обнять девичье тело, податливое в его сильных руках. Нежное, сладко пахнущее ответной приязнью, робостью, безоглядным доверием... Их любовь будет краденой и короткой, потому что Светелу никак не судьба водить жену, гоить дом... она будет... ох.

«Не хочу! Там тётка чужая! Маме ровесница! А я не белый оботур, которого всякий со своими турицами пустить мыслит...»

Ерга Корениха услышала отворот внука столь ясно, будто он вслух выкрикнул. Взяла за плечи, заставила поглядеть. Почти по-мужски крепко встряхнула.

– Дитятко, – ласково сказала она. – Неволить я тебя не хочу, но вот что послушай. Я сына к святым родителям проводила. Внук старший в нетчинах, младшенький дитя малое. И ты, чадо сердечное, за порог глядишь. Будет хоть через Свеюшку Пенькову роду продление... нам память. Их росточек поднимется, да с твоим взглядом сокольным!

А он думал, будто знает бабушку, строгую, немногословную, скупую на ласку и похвалу.

«С моим взглядом?.. так я... кровей пришлых... ох... андархи...»

– Дитятко, – повторила Корениха. – Ты мне внук, Равдуше сын, родней не бывает. Семени множиться, людям жить. Иначе лихолетья не переждем. – Вздохнула, добавила: – Страшно с белого света бездетными уходить. Так скажу: будь притча иная... на Жога бы засмотрелись... я бы первая велела ему к ней пойти. Равдуша после в мыльне отпарила бы... веничком мож-жевеловым...

Пока Светел натягивал за шатром лёгкую завесу из двух санных полстей, внутри жалко всхлипывала Свеюшка, утратившая решимость:

– Как обниму его? Я мужа люблю...

Она страшилась, готовая в последний миг отступить от «невместного товара», который сама же облюбовала. Подсивер не говорил ничего. Однако его молчание столь же внятно сочилось сквозь суровую стену, кипело застарелым отчаянием, бессильной надеждой.

Равдуша ответила сразу обоим, проговорив неожиданно рассудительно и спокойно:

– Так ты, племяненька, мужа обнимать будешь. Фату свадебную принесла?

– Принесла... фату, рубаху посадскую...

– Вот и покройся любовью мужчиной. А ещё... – Равдуша склонилась к самому уху Светелки, но Светел всё равно услышал. – А ещё веди его, несведомого, если вдруг заробеет.

«Заробею? – возмутился он. – Да я!..»

И тут же подкатила боязнь.

Спустя малое время из-под свеса шатра ползком вылез Подсивер. Вытащил за собой конец длинного полотенца. Всё же его родовичей дразнили не зря. Подсивер встал, оказавшись со Светелом сходного сложения, одного роста. Только «андарх» уже вошёл в лета зрелого мужества, а Светел к ним близко не подобрался.

Они едва взглядами обменялись. Оба враз отвернулись, точно шарахнулись. «Не хочу я... Не так!» – мелькнуло последний раз, пропало снежинкой в огненном вихре. Корениха поставила их спиной к спине. Велела раздеться, расплести волосы, приказала зажмуриться. Взяла обоих, стала быстро крутить противосолонь.

За Киян-морем Остров Жизни лежит.
Вкруг зелёных луговин кручи каменные.
Кручи каменные, неприступные.
На том Острове Перводрево стоит.
Алабор-камень корешки оплели,
Голомень долгая сквозь миры прошла,
Божье Небо зиждут ветви могучие.
Как с них сыплются семена всех трав и деревьев,
Людей и зверей души наземь быстро бегут,
Лишь одна душенька всё никак пути не найдёт...

Они стукались лопатками, прикосновение чужой кожи было непривычно, срамно, враждебно...

Всякий пёс холит-гоит малых щенят,
Всякий лебедь холит-гоит малых птенцов,
Только я, молодой Подсивер, дитя на руках не качал.
Ты за тучами проснись, ясно Солнышко!
Ты ударь огнём небесным, святая Гроза!
Ты волнами всколыхнись, предвечный Киян!
Вы потряхните Перводрево да от самых корней,
Вы потряхните Перводрево до зелёных ветвей.
Вы родительский листочек наземь сбрасывайте,
Душу малую да попускайте в крови жены,
Облекайте плотью сильною, крепкою,
Тельцем толстым, ручками хваткими, ножками резвыми!

Светел неуклюже переступал вслепую, боялся запнуться. Знакомый бабушкин голос стал незнакомым, обрёл могущество, вселенскую власть. По лицу, по телу прошлась ветошка, намоченная снеговой стылой водицей. Кто и как успел выставить под полог непочатое ведёрко, Све-

тел не знал. Он сейчас падающего дерева не заметил бы. Только чувствовал, как вокруг переворачивался мир. Всё своё облетало, словно отболевший волдырь. Чужой оберег раскалённым железом прилип на голую грудь.

А пойду я, удалой Подсивер, к молодой жене!
Встану смело, встану крепко на великую рать!
Прямоезжий путь расчищу от Небес до Земли,
Раскидаю буреломы, растворю родники,
Тёплым пухом выставлю гнездо для новой души!
Чтоб гуляла по Земле да Небо славил,
Отчий дом светлила, длила рождение.
Как не ведает берегов предвечный Киян,
Так не будет слову моему ни края, ни скончания.
Слышат мою правду кручи каменные,
Вторит ей вершина Древа живущего,
Замыкает мою правду Алабор-камень святой!

В руки уже-не-Светелу сунули мягкий ком. Он едва не упал, натягивая штаны, отчаянно запутался в тельнице, хранившей Подсиверovo тепло. На затылок легла рука, пригнула к земле. Не открывая глаз, он нащупал перед собой край шатёрного свеса. Торопливо приподнял. Схватил шершавое полотенце, стал перебирать, пополз внутрь, проникая из своей вселенной в чужую...

...И было судорожное дыхание где-то впереди, за красной темнотой сожмуренных век. Пугливое тепло незнакомого тела. Горячие руки, ищущие спасения в его силе... сама эта сила, неожиданно грозная, солнечная, животворная... шёпот сквозь расшитую свадебную фату, неверный, косноязычный:

– Подсиверко... любый... желанный... ладушко мой...

Мужа, отженённого от жены, вон из полога не пустили. И надо бы, да угодит под недобрый глаз, долго ли святое дело испортить! Бабушка лишь принесла ему два полена, вручила тяжёлый косарь, назвала по имени – Светелом. Благословила делать то, что всегда делал внук: щепать лучину. Он чуть пальцы не перекалечил, слушая, как в иномирье шатра глухо звала, охала, всхлипывала Свеюшка... Тот, кто был с нею, долго не подавал голоса, потом сдавленно зарычал. У коловшего лучину упал из руки нож, он поспешно схватил его.

Наконец зашевелилось полотенце, из шатра ужом выполз кто-то мокрый, встрёпанный, беспамятный. Корениха вновь поставила мужчин спиной к спине, сказала раздеться. Закрутила уже посолонь, возвращая каждому свою самость... имя, родные обереги, одежду...

Подсивер схватился за полотенце, Свеюшка потянула с той стороны, втягивая мужа из заговорных кругов в привычную каждодневность. Светел обнаружил, что сидит под пологом на песке. Он плохо помнил, как там оказался. Рука скребла левое плечо, где рассасывались, исчезали проступившие синяки. Он хотел встать, передумал, но и сидя не удержался. Земля тянула к себе, была мягче тюфяка на полатах. Откуда-то взялась войлочная полстина, он благодарно заполз на неё, свернулся клубком. Бок накрыло уютное меховое тепло, бабушкина рука погладила по мокрым кудрям.

«А ну тебя, Крыло. Без нужды им глаза твои синие...»

Светел заснул и беспробудно проспал остаток дня.

Прежде чем идти на купилище, твёржинские всем обществом навестили Родительский Дуб. Великая тётюшка Розщепиха несла печальное полотенце с узорочными краями, браными

драгоценным льном. Которое по счёту за время вдовства? – она одна счёт им вела. Велеська, младший внук, быстро пробежал по нагим ветвям. Срезал прежнюю, истрёпанную ширинку, завязал новую. Полотнище развилось на ветру. Хлестнуло старую, но всё ещё глубокую и видную впадину на древнем стволе. Розцепиха придирчиво оглядывала Дуб: все ли стойно кручину блюдут? Покачала головой, заметив полотенце Жиги-Равдуши. Одна ветхая серёдка да узел! Так пойдёт, вовсе наземь слетит. И сама Равдуша, глядишь, пояс справа завяжет, оставит печаль. А ведь не вчера бесчиние началось! Едва родив, к погребальному костру выбежала. А красные рукава во время истой кручины? А в Торозиху из дому снарядилась?

Вот и Жогов рубец на коре будто заплывать стал... Лёд натёк? Само дерево выправлялось?

Не умеет Корениха домом владеть, в строгости невестку держать.

Не будет добра.

Божья огнивенка

– Полезай в избу, гость желанный!

Захожень, кряжистый мужик в полуторной шубе, повозился в сенях, обметая с меховых сапог остатки талого снега. Сняв шапку, поклонился Божьим ликам в красном углу. Утвердил на пороге выдавший виды берестяной короб.

– Здорово в дом! А я тебя, брат Лигуй, еле нашёл. К Порудному Мху сперва прибежал. Ты никак насовсем сюда перебрался?

Шевельнулась занавеска бабьего кута. Мелькнул вдовий убор. Выглянула хозяйка, за ней дочки. Поклонились гостю, начали торопливо собирать на стол.

– С твоей упряжкой, брат Хобот, дюжина вёрст не крюк. Хороши собачки... Другим маякам на завидку!

Гость улыбнулся хвальным словам, но всё-таки обтёр лицо заскорузлой пятернёй, стряхнул пальцы, спасаясь от невольного сглаза.

– В добрый час молвить, в худой промолчать... Я, что ли, мешаю таких же купить?

Снаружи поднялся шум. Рык, визг, лай! Упряжку Хобота водворяли в собачник.

– Серая задирается, – прислушался маяк. – Давно бы дрянь кусливую пришибить... кабы за троих не тянула.

– Шубу скидывай, брат Хобот. Натоплено.

Бродячий торговец перенёс короб к столу, поднял крышку.

– Слышал я, старшенькая Бакунична скоро своим очагом заживёт...

– Удеса! – окликнул Лигуй. – Поди сюда, сударыня, сделай милость, дочек води! Подарочки выбирайте.

Хобот уже выкладывал на стол диковины, невиданные в восточном заглушье.

– Вот ступка старого дела, толоч в ней чеснок, а запах не лёг, теперь таких не найдёшь. Вот скалочка доброго камня, тяга земная сама тесто рассучивает, катай, веселись, рукой не трудись. Вот нитки андархские, настоящие царские, до веку не полиняют, жениху рубашку вышивать, чтобы не разлюбил...

По плечам и спине перекатывались хвосты воротника. Шубу Хобот так и не снял. Слишком привык. Боялся почувствовать себя голым, уязвимым.

– Беру, – щедро обвёл товары Лигуй. – Даже торговаться не стану. Всё для радости вашей, разлюбезные чада!

Удеса приобняла девок, велела ровным голосом:

– Поклонимся батюшке, дочурки.

Старшенькая, в платочке внахмурочку, покорно склонилась.

– Благодетелю нашему...

Младшая собралась губы надуть, мать щипнула. Лигуй сделал вид, будто не заметил.

Когда Удеса с дочерьми скрылись в малой избе, всё же вырвалось:

– Примучить бы дур...

Маяк усмехнулся:

– Что же не вразумишь?

– А терпелив я, – нахмурился Лигуй. – Жду, чтоб сами приластились. И так за добро моё от злых людей наговоры! Учить начну, вовсе лихая слава пойдёт.

За едой он больше молчал. Слушал гостя. Язык у Хобота приделан был от рождения туговато, однако ремесло за годы расшевелило. Люди ждут маяка не только ради товаров. Им новости подавай. О жизни за тридевять земель, о шегардайских Эдарговичах, о поисках утвари, расхищенной из дворца... и прочей чепухе, даже краем не касавшейся Порудницы с Ямищами.

Когда Хобот опустил ложку, хозяин понизил голос:

– Мне-то мелочишку привёз, о коей сговаривались?

Торговец ответил степенно:

– Как не привёз! Ночей не спал, сберегал.

Подтянул короб, вынул оплетённый горшочек. Вытащил свёрток. Не спеша размотал. Лигуй увидел тонкую бронзовую клетку и камень в ней. Красный, прозрачный, огранённый ступенчатым остриём.

Мигом забылась дедовская наука: хочется товарец купить – не хвали! Виду не показывай, что полюбился!.. Рука сама сотворила святой знак Огня.

– Охранителю, от злого мрака заступнику...

– Из храма разваленного, – степенно пояснил Хобот. – Из старого Лапоша. Ялмакович мечом клялся, будто с алтаря взято. Чехолок золотой пожаром расплавил, а может, украли, уж не взыщи.

Лигуй помолчал. Сглотнул.

– Ну а... святость сбереглась ли?

– Это испытать можно. Неси четыре светильника.

...Маяк возился нескончаемо. Искал верный север. Нацеливал известную сторону клеточки на божницу, противную – на устье печное.

– Видишь четыре лика чеканные? Надо расположить, как над вратами шегардайскими. Спутаешь – победушек не оберёшься!

Покупщик аж взопреп, стараясь запомнить. Славно жить при Огне, но стоит прогневить, напугать... Да что! Беда памятна.

– Долго мешкаешь, брат Хобот, – вылетел судорожный смешок. – При этом огне семь деревень помёрзло! Сила неключимая подступит, уговорю ли обождать?

Бывалого торгована смутить было трудно.

– А кто велит Божью огнивенку в лес таскать, как обычное кресиво? Ты её в святой угол поставишь, замкнёшь в сосудце узорочном. Всяк день живой огонь возжигай! Да не саморучно вытертый, а с пречистого алтаря! Окуришься дымом – какая нелёгкая подступиться дерзнёт?

Зажёг светочи, стал искать им места. Хозяин пристально наблюдал. Руки у Хобота были могучие, но не особенно ловкие. К узорам бисерным непривычные. Двигаться по волоску не учёные. Каждая оплошка заставляла Лигуя вздрагивать.

Наконец камень ожил. Засиял, как рдеющий уголь. В алой глубине пробудилось сердечко, начало посылать кверху выплески прозрачного света. Медленно, потом чаще, чаще...

Хобот спохватился, бросил клоч растопки на бронзовую решётчку. Берёста выгнулась, испустила коптящие язычки. Лигуй смотрел замерев, таращил глаза. Беззвучная молитва шевелила усы. Нужно было приветствовать, восхвалять, вот только голос позабыл дорогу наружу.

Огненное сердечко трепетало, вспыхивало, метало золотой жар...

Лигуй смотрел, не мог оторваться, нутро всё туже скручивал страх.

Хобот вдруг вскочил, сцапал с полки порожний горшок, проворно накрыл разошедшуюся огнивенку. В горшке обиженно зашипело. Помалу шипение улеглось.

Только тут Лигуй почувал запах горелой пеньки. Вскинул глаза к потолку.

Сеть, висевшая во владениях печной копоти, тлела посередине. Грозила полыхнуть.

Двое мужчин заматались в избе. Ухватами, чапельниками сшибли злосчастную сеть. Затаптали, измарав чистый пол.

Хобот перевёл дух:

– Потому, брат Лигуй, я в сосудце замыкать и велю... Огонь не вода, пожитки не выплывут!

В малой избе всё было как при батюшке, при государе Бакуне. Удеса со старшей дочерью заправляли кросна, основывали основу. Ловко вязали нитченки, готовились выбирать узор,

завещанный от прабабок. Только рубашки кручинились белыми рукавами, утратившими цветение вышивки. Чаяна с матерью не смеялись, не вспоминали предсвадебных плачей. Просто работали.

Аюшка взяла было прялку, устроилась у светца. Дело не пошло. Веретено замирало в руке, взгляд возвращался к подаркам на полавочнике.

Скоро брызнули слёзы.

– Мамонька! На что кланяться приказала? Не батюшка он нам! Самочинно влез, благодетелем назвался, защитником! Не звала ты его!

Чаяна упустила нитку. Удеса выпрямилась, вздохнула. Скорбные глаза, морщины, как прожилки на безвременно увядшем листе.

– А ты, дитятко, не ему кланялась. Плачено за подарочки от честных трудов сокола нашего сгнувшего. Это его рученька тебе диковины многоценные протянула. Ему и почесть была.

– Чуешь? – спросил Хобот.

Он был доволен. Мысленно уже подсчитывал барыш.

Лигуй потянул носом:

– Ну...

Запах витал, шевелил в памяти что-то крепко забытое.

– Как после грозы, – подсказал маяк. – В груди радостно. Это оттого, что Божьей огни-венки всякая нечисть бежит.

Лигуй на пробу вдохнул. Выдохнул.

– Ещё дело к тебе есть, брат Хобот. Ты все земли прошёл, всех людей видел. Поди, грамоте разумеешь? Писаньице нарочитое сладить сможешь?

Отъезд из Невдахи

Когда ветер дул с моря, да ещё и подгадывал нужное направление, высоко над головами принималась выть Наклонная баиня. Раньше её называли Глядной. Если в северной стороне задымятся костры, с неё должен был прокричать рог. Дикомытское войско так и не появилось. Маковка надломленной баини давно стала недоступна самому ловкому ползуну. Никуда не делся только вековой страх. Когда он подавал голос, сквозь стены опочивальных покоев сочились неподобные сны. А стоило буре как следует разгуляться – из Чёрной Пятери хотелось утекать со всех ног. Куда угодно, лишь бы подальше.

Ознобиша снова шёл сквозь туман. Сжимал в руках снегоступы. Сердце трепыхалось в ожидании жуткого и неотвратимого, ждавшего впереди. Он бы всё отдал, чтобы убежать или хоть свернуть, но не мог. И он был один. Начисто, беспросветно один. Никто не ободрит... не заслонит...

Туман стал редеть. Ознобиша всхлипнул, ускоряя шаги, чтобы неведомое скорей явило себя. Ещё сажень...

Перед ним выросла знакомая стена. Та самая, где сорвался Дрозд. Заплывший ров. Дорога, ныряющая в ворота. У границы снега стояло дерево. Корявая, кряжистая сосна, ни живая, ни мёртвая, как все нынешние деревья... обломанная макушка, длинный сук, простёртый через дорогу...

Сердце прыгнуло вон из груди. Под сосной плясали, корчились, извивались нечистые тени, облепившие гордого человека.

«Ивень!..»

Ознобиша кинулся со всех ног, оскальзываясь, увязая в снегу.

«Ивень, брат! Я не знал!»

Тени облапили Ознобишу. Стали всовывать ему в руки заряженный самострел. А вот не на такого напали! Ознобиша больше не был напуганным, беспомощным мальшиком. Тени шарахнулись его гнева, как солнечного огня. Он наконец-то дотянулся до Ивеня. Ощутил тепло и боль его тела. Торопливо стал растягивать, срывать впившиеся верёвки...

Ивень чуть приподнял голову. Улыбнулся братишке – грустно, уже с той стороны. Ознобиша близко увидел его глаза.

Почему-то впрозелень голубые... Скварины...

Он содрогнулся, сел в темноте. Явь с трудом пробивалась сквозь сонное видение, слишком яркое, яростное, живое. Было холодно, рука не находила рядом братейки. Наверно, это Шагала снова заплакал. Гнездарёнок часто плакал, когда была Наклонная. Сквара его утешал...

Ознобиша зябко передёрнул плечами. Снова лёг, закутался в одеяло... наконец понял, что вблизи никто не всхлипывал, не шептался. Сон постепенно редел. Чёрная Пятерь уплывала за снега и леса, за тридевятую овидь. Кругом всё основательней смыкалась каменная насущность Невдахи.

Здесь Ознобиша пока не оставил никаких теней по углам. Он понемногу согрелся и крепко уснул.

Ещё вечером на Ворошок нанесло косматую тучу. Правда, не с моря, а совсем с другой стороны. Во дворах и переходах Невдахи заматались призраки. Заголосили так, что расхотелось даже пугать друг дружку рассказами о неупокоенных Нарагонах, всюду ищущих родовое кольцо. Под утро стало тихо. Буря откочевала в сторону Кияна, покинув гряды в долгих

саванах возвращённой зимы. Оттепель изорвёт морозные ризы, но сегодня мирская учельня прыгала через сугробы, умывалась белым холодом, кидалась снежками.

Вышел хмурый, озябший державец, служивший в крепости ещё при боярине Сварде.

– Шевелись, дармоеды! Ваши учителя снег должны разгрести?..

Ознобиша с готовностью схватил лопату. Удивился, поняв, насколько, оказывается, тосковал по привычной работе, по северной зиме. Стужи в замке не бывало никогда. То ли от близости горячего водопада, то ли потому что героя вправду показали доброе место... Вот только зимы год от года делались всё суровей. Едва успели порадоваться весенним дарам, по обычаю присланным из Подхолмянки, – как задуло, как нанесло!

– С дикомытской стороны веяло, – пропыхтел Ардван. – Чего хорошего ждать!

Ознобиша хихикнул:

– Мы с братейкой-дикомытом снега перекидали, сколько ты за всю жизнь не увидишь...

Тадга широкой лопатой откопал от пухлого белого пласта. Упираясь, подгрёб на край площадки.

– Так дело пойдёт, в долине зелёные пруды вымерзнут.

Ознобиша принялся помогать. Ростом он был по ухо рыбацкому сыну, но сноровка любой дюжести стоит. Сугроб пошёл расти на глазах.

– Выстоят пруды, – успокоил Ознобиша приятеля. – Они знаешь сколько добра в них сбрасывают? Всем городком. Тёплого...

Ардван засмеялся, оттопырил гузно, хлопнул кожаной рукавицей.

– Всё равно туча дикомытская не к добру, – пробурчал Тадга. – Говорят же, воевать их скоро пойдём.

– Кто говорит?

– Да все. Вот пошлют меня войско считать, Ардвана – указы начисто переписывать, тебя... – Он запнулся, соображая, мог ли быть прок ратным людям от Ознобиши. Сразу не придумал, безнадежно махнул рукой. – А там всех в плен возьмут.

Ознобиша прищурился, упёр руки в боки:

– Это когда же? Когда ваши Ойдриговичи снова Позорными воротами побегут?

– Тихо ты, – испугался Тадга.

Ардван тоже покосился через плечо, кивнул в сторону:

– И станем неволей маяться за Светыню. Вот как Орик...

В сторонке уныло шуровал их ровесник. Держал лопатище, словно одолевал всю тягу земную. Цеплял снег по горстке, бросал тут же рядом. А уж лицо было!

– Хоть образ в храме рисуй, – пискнул Ардван. – Первые мораничи на каторге изнемогают!

– Люди добрые, – одновременно заскулил Тадга. – По злему велению чахну, вместо того чтобы у боярского престола стоять...

Ознобиша засмеялся с друзьями. Потом нахмурился. «Я сюда не просился, – говорил Сквара. – Но коли попал, надо все умения превзойти...» Сквара теперь, наверно, лучшим учеником стал. Вместо Лихаря стеном. А с уныльника Орика и в красных палатах толку будет как здесь. «Вот уж сошлют тебя, бедолагу, на кружечном дворе долгишки писать...»

– Всё равно, – снова помрачнел Тадга. – Поймают, пытать возьмутся. Сколько войска да которым путём воевода сторожевой полк выслал... как язык за зубами сдержать?

– А никак, – сказал Ознобиша.

– Да ладно, – не поверил Ардван.

Тадга зябко переступил с ноги на ногу:

– Сам баял, на воинском пути знатые живодёры. Я-то думал, вас мукам противиться обучали! Боль от тела отмещать...

– Нужен ты кому, – засмеялся Ардван. – Кто слышал, чтобы при воеводах счислители состояли?

Тадга подкинул ногой снег.

– Я, может, зодчему помогать буду. А враги о защитной стене узнать захотят!

Ознобиша пожал плечами:

– И узнают, если тебя господин твой не сбережёт.

– Огнём жечь будут? – с болезненным вождением спросил Тадга. – Руки ломать?

Посмотрел на свои рукавицы, вздрогнул. Сжал кулаки, зябко втянул в рукава.

– Огнём хлопотно. Дым виден и смрад повалит, – рассудил Ардван. – Они проще сделают! Валенки слупят, самого ногами в сугроб. Всё сразу расскажешь.

Тадга опустил глаза. Войлочные сапожки начинали расползаться по швам. Совсем погибнут, если скоро не починить.

– Ну уж не сразу... потерплю...

Ему было страшно. Ардван засмеялся, тонко заверещал:

– Всё скажу-у-у! Сколько два да один будет... и сколько из трёх два вычесть...

– Ха-ха, – скривился Тадга. – А ну выкладывай, краснописец, что господин в стольный Выскирег доносил?

– Трусишка ты, рыбачок.

– От зайца горного слышали!

– Ну вас, – тряхнул головой Ознобиша.

– Погоди, – вдруг вспомнил Ардван. – Ты все книги прочёл! Йелегеновы советники, Игай да Койран... выдержали, когда хасины...

– Не выдержали.

Мирские недоучки переглянулись. Выкормыш Чёрной Пятери явно что-то знал. От этого становилось неудобно.

– А в летописях...

– Летописцы славили царя Йелегена и придумывали победы, если их не было.

– Это тоже учитель ваш говорил?

Ознобиша кивнул.

Тадга смотрел так, будто собираться с духом для мук предстояло прямо сейчас. Архван ещё хорохорился, но ухмылка получалась кривая.

– Значит, совсем-совсем способа никакого?

– А учителя вашего в плен взяли бы? – спросил Тадга.

«Ветра! Взяли!...» Ознобише стало смешно. Потом он оставил улыбаться, медленно проговорил:

– Способ-то есть... Помянул однажды учитель...

Друзья встрепенулись.

– Ну?! – подался вперёд Ардван.

Тадга сразу потерял надежду:

– Тайный небось...

Ознобиша вздохнул:

– Тайна невелика. Исполнить духу не хватит.

– Это почему?

– Надо внутренним усилием рот на замок запереть и ключ выбросить.

– Тебе хорошо! – обиженно протянул Тадга.

Теперь смешок вырвался у Ознобиши.

– Мне?..

– Ты везучий!

– Царские наручни отвергаешь, вместо плётки за наглость ещё имя новое дарят.

– Тебя к важному господину пошлют. Уж он в обиду не даст.

– Тебя на воинском пути всему научили! А мы хоть отравой впрок запасайся!

Друзьям не дал поссориться один из младших мальчишек. Он до того торопился, спускаясь по каменной лестнице, что поскользнулся. Взмахнул руками, больно сел на ступеньку.

– Ознобиша... то есть Мартхе! В передний двор беги! Дыр зовёт!

Наставник Дирумгартимдех, смуглолицый южанин, не любил холода. И в том, что талая жижа вновь чавкала под ногами, более прочих был виноват Ознобиша. Оттого ему для начала досталось палкой поперёк склонённой спины.

– Праведные владыки радеют о восстановлении державы, но подданные, должные облекать плотью царскую волю, не желают слышать слов мудрости... Чьё скудоумие указало на этого никчёмного, когда есть действительно достойные ученики?

Не поднимая головы, Ознобиша видел друзей, опасливо глядевших из-за угла. До гнездаря постепенно доходило, что Дыр позвал его не просто для очередной руганицы.

– Будь моя власть, – продолжал наставник, – я бы послал наделённого благородной рукой, годной составлять хозяйские письма... Этот же пишет, как ворона, склевавшая пьяные ягоды! А его бесчинная привычка читать молча, убегая на десять страниц вперёд, пока прилежные отроки за учителем повторяют!..

«Не на десять! Неправда это! Всего на пять...»

Против Дыра стоял доверенный писарь одного из купцов. Ознобиша мельком видел его в Подхолмянке. Слуги держали под уздцы лошадь.

Неужто жизнь снова готовилась круто лечь на крыло?..

«Чем ругать напоследок, позволил бы котомку собрать... Матери Страннице помолиться, кусочек хлеба дорожным оберегом припасти...»

– Я, – продолжал Дыр, – несомненно предпочёл бы юношу благоразумного, взращённого в кротости, в послушании! Мой разум отказывается постигать, как возвеличит своего благодетеля этот сын лесной тьмы, только и превосходящий других в хождении по забору!

Тадга и Ардван во все глаза смотрели на Ознобишу. Тот клонил голову к мокрым и скользким камням, словно туда, как горошина в щель, закатилась отгадка его странной судьбы. И что дёрнуло предрекать Орику скорое прощание с Невдахой? Забыл – мысли своей жизнью живут? Даже невысказанные?

По кое-как счищенной жиже прошлёпали торопливые шаги. Мальчишка-посыльный принёс Ознобишин старенький заплочный мешок. Хотел отдать, Дыр выдернул, придирчиво заглянул. Вдруг что лишнее завалилось? Ознобиша встал наконец. Ещё раз поклонился учителю. Торопливо натянул лямки. Штаны, пропитанные талой влагой, липли к ногам.

Дыр указал ему на писаря:

– Ты будешь во всём слушаться этого господина. Я предупредил его, что нрав у тебя дерзкий. Посоветовал не жалеть палки!

Писарь хмыкнул, взял у слуг повод, забрался в седло. Лошадь вздохнула, неохотно поворачивая в обратный путь. Седок толкнул её пятками.

– А ты что встал? – рявкнул Дыр.

Ознобиша сорвался с места, побежал догонять всадника. В воротах оглянулся. Ни Ардвана, ни Тадги.

Писарь недовольно повернулся в седле. Придержал лошадь.

– Ты там, пендёра! За стремя берись!

Ознобиша всадника-то лишь в Подхолмянке близко увидел, а за стремя не держался вовсе ни разу. Он нерешительно потянулся к железной дужке в полосах ржавчины. Как прищемит пальцы грубый сапог, тёмный от сырости...

Нога в стремени дёрнулась для пинка.

– Башка осетровая!.. За путлице хватайся! Повыше!

Ознобиша догадался, стиснул в ладони ремень. Из воинского пути его, по крайней мере, провожали друзья. Воробыш коробком съестного снабдил. И возчики зазря не теснили, потому что Ветер насчёт палки им не советовал, а Сквара вовсе перепугал...

Здесь друзьям даже подойти не дали. И писарь этот, кажется, борзой рысью до Подхолмянки гнать собирался. А ещё тайное воинство за жестокость ругают!

С крепостной стены донеслось пение:

Город каменный над озером стоит,
А живёт в нём всё порядочный народ.
А кругом стена из вытесанных плит,
В той стене – широких четверо ворот.
Протянулись до повинных деревень
Прямоезжие четыре большака:
Как на полночь, на восход, на красный день...
И последняя дорога – на закат.

Ознобиша очень хорошо знал эту песню, потому что сам доставил её в мирскую учельню. То была чуть не первая настоящая хвала, сочинённая Скварой. Учителя Невдахи кривились. Они привыкли иначе толковать рождение котла и отступлений не признавали. Впрочем, вовсе запрещать не отваживались.

Той дорогой, как говаривали встарь,
По обычаю прадедовских времён
В славный город заезжал пресветлый царь,
И плясал под ним ретивый рыжий конь...

Ардван и Тадга стояли высоко на стене, обнявшись за плечи. Вдохновенно орали в два горла:

Хлебом-солью все подвластные края
Привечали воспринявшего венец.
А кругом качались копий острия,
И для пира приготовлен был дворец.
Но владыка наш коня остановил
На дороге у широкого моста.
Там на подвыси, в колодках, весь в крови,
Обречённый ждал последнего кнута.
Он держался, как воды набравши в рот,
Только кудри слиплись потом у лица.
И ударов не считал уже народ,
Опечаленный злосчастьем удальца...

Рядом с двумя друзьями выросла тощая чёрная загогулина. Дыр гневно замахнулся палкой. Ребята шатнулись, стукнулись один в другого, замолчали.

Путлице в руке увлекало Ознобишу вперёд. Смотреть вверх было некогда. Зазевайся, как раз шлёпнешься под копыта.

Со стены долетел ещё голос. Сквариному далеко не верста, но чистый и верный.

«Погоди! – сказал владыка палачу,
Исполнявшему жестокий приговор. –
Я спросить у вас, желанные, хочу,
Как расправы доискался этот вор?»

Ознобиша не утерпел, вскинул голову. «Орик! Я-то смеялся...»

Отвечали городские большаки:
«А за то злодей-разбойник брошен ниц,
Что сиротам раздавал он пирожки,
Платьем крашеным одаривал вдовиц.
С кистенёчком обходил ростовщиков,
Выставлял котёл похлёбки для детей...»
Царь отмолвил: «А парнишечка бедов!
И ему уже достаточно плетей.
Это вас бы, волостелей, на правёж!
Вы-то сыты и одеты хоть куда!
Тот людей казнить и миловать не гоже,
Кто убогим не опора, а беда!..
Я велю разбить колодки, спрятать кнут,
Смыть бесчестье полновесным серебром!
Пусть отныне и вовек его зовут
Самым первым, изначальным котляром!
Да разгладится Владычицы чело!
Да узрит Она достойные дела!...»
...Так рассказывать, ребята, повелось
О святом начале нашего котла.

Понемногу Ознобиша приспособился к лошадиной побежке. Выровнял дыхание. Ходко затрусил по дороге, унося из мирской учельни не намного больше, чем когда-то принёс. Ношеную одежду... старую книгу о развлечениях для ума... верёвочный плетёжок на руке.

Личник

Маленький Аодх сидел среди густой муравы. Солнце играло в шелестящей листве, пятна света бродили по нежному узорочью лесных трав. Ягоды земляники были крупными, красными в бисере крохотных буроватых семян. Сперва они чуть горчили во рту, потом растекались диким летним мёдом, а пахли!.. Аодх уже выучился искать их, запрятанные под листьями. Только с черешка снимать, не раздавив, выходило через раз. Он смеялся, облизывал пальцы. Рядом пели и разговаривали женские голоса, им отвечала мама Аэксинэй. Солнце брызгало золотыми искрами, касаясь её головы.

В последнее лето отец, по царскому долгу, объезжал земли. Останавливался в деревнях, слушал старейшин, творил суд. Мама стирала, пряла, готовила среди женщин. Показывала сынишке, как растёт земляника. Он тянул ягоды в рот и не знал, что живёт в счастье. Преходящем, неворотимом, точно солнечные пятна в траве. Не знал, как быстро всё кончится, чтобы воскресать лишь во снах, отдающих горечью и лесным мёдом.

В женские голоса встрял знакомый мужской:

– Поспеши, государыня. Праведный супруг тебя и сына зовёт.

– Что такое, добрый Невлин? – забеспокоилась Аэксинэй. – Никак вести дурные?

Маленький Аодх уловил тревогу матери, быстрее пополз на четвереньках вперёд. Ещё ягоду! Ещё, ещё! Взрослый непонятный разговор почти миновал его, бросив в память лишь несколько слов:

– Гонец... измена... Эдарг.

Мамины руки подхватили измазанного красным соком Аодха. Свет и тени быстро замелькали внизу. Ему хотелось назад, на ягодную поляну, но их звал отец, значит надо было бежать...

Светел проснулся оттого, что лицо вылизывал Зыка. Открыл глаза. Сразу всё вспомнил. Заулыбался. Согнал улыбку.

Зелёное, солнечное кружево сновидения быстро тускнело, гасло золотое шитьё на головном уборе царицы... Некоторое время Светел просто лежал, глядя на серую полосу между полстинами. За пологом всюду шумела Торожиха. В шатре смеялся Жогушка, звучал голос мамы Равдуши.

Надо было подниматься. Поднимать дневные дела. Учить братёнка, как сулился, ладить плетень. А ещё где-то там, за рядами, на краю зеленца, стояла дружина. Взаправдашняя. Воевода Ялмак чаёт найма. Опасать большой поезд, идущий в Левобережье и Андархайну. Можно сбегать на развед. Вблизи узреть витязей. Присмотреться к повадкам. Разговоры послушать... Примерить себя к первому шагу по дороге на юг...

Что ж не вскакивается, не бежится?

Светел полежал ещё, хмурясь, раздумывая. Душа со вчерашнего как будто откипела, остыла. Привычная мечта сникла. Позволила рассмотреть совсем иную судьбу. В этой судьбе красовался новенький двор, где Светел владыка. И ровнюшка, что суженым его назовёт. А ещё – дети. Полная изба. С глазами как старый мёд. С непокорными лохмотками жарых волос...

Жизнь, какую мечтали себе все добрые люди.

Кроме него, от рук отбоиша.

«Я обрёкся родительского сына в дом вернуть. За то, что вырастили, хоть так отдарить. И атя благословение обещал. А если я по-глупому своё должное понял?..»

Племиться. Язык продолжать. Даровать всё, чего ждали от Сквары, да не дождались.

Как узнать, где истинная судьба, где ложная? Двух жизней не проживёшь, вправо и влево разом не поворишь. Какое намеренье принять? У кого совета спросить?..

«Да что я раскапустился, будто прямо сейчас решаю!»

Светел потянулся, откинул одеяло. Вылез из-под кожного крова.

«Будет то, что будет. Даже если будет наоборот...»

Всё утро он никуда не шёл со «двора» – так во временном селенье звался клочок земли, огороженный поваленными санками и шатром. Бабушка сидела у рундука. Люди подходили смотреть кукол, забирали кто лошадку, кто волка. Не торгуясь, унесли целую свадебную дружину. Жогушка возился у ног, складывал на колене пять длинных ремешков. Учился верно перегибать их, надбирая ровный плетень. Выходили кривулины. Кто бы сразу ждал от детских пальцев сноровки! Малыш чуть не плакал, но Светел был беспощаден:

– Заново плети. Не годится.

Корениха оглядывалась на сопящего внука, утрачивала привычную суровость. Косилась на Светела.

«Пожалел бы дитё, – говорил взгляд. – Стараются ведь. И плетёт верно... почти...»

«А я, ровесником ему, не старался? – так же молча отвечал старший внук. – Сколько у ати под началом ремни на лапках переплетал! Зато не стало переводу лыжам Пеньковым. И не станется!»

Сам он держал на коленях гусли. Не так держал, как обычно.

Пальцы всё ныряли в игровое окошко, он их вынимал. На андархской снасти Крыла окна не было. Гуслиар выбирал струны прямо сверху, там, где ходила бряцающая рука. И как умудрялся?!

«Злая буря... Врёшь! Сызнова!»

Голосница отказывалась получаться. А ведь Крыло попевал не только струны глушить. Он той же рукой ещё и подцеплял нужные, раскрашивая звучание!

Светел отчаивался, тряс непривычной кистью, разминал персты. Добро бы хоть песня была толковая. «Девки, слёзы, вздохи тайные... в прорубь головой... тьфу!» Наигрыш казался слащавым до тошноты. Но – прилип, так и отдаётся в ушах. Светел одну эту песню видел исходившей из гуслей Крыла. Одну её уложил в память. Уча пальцы подсмотренной пляске, неволей бормотал пустые слова. «Другие бы сложить, да люди заклюют: стихотворец нашёлся!»

Переборы... подъезды... А как это Крыло прижимал ногтем струну, меняя звучание?..

Гусли тренькали, жалобно дребезжали, не слушались.

«У Крыла руки вона какие. Долгие, узкие. Небось ободей на снегоступы не выгибают. А у меня...»

Жогушка наконец расплакался, метнул ремешки наземь:

– Не могу я!..

Хорошо хоть к бабке за утешением не притёк. Светел нахмурился, накрыл струны ладонью. Въяве увидел улыбку славного скомороха, дяди Кербоги.

– Нет такого слова «не могу», – сказал он братёнку. – Есть «я плохо старался». И «я не больно хотел».

Сам удобнее повернул гусли, посплюнул для верности ноготь. Как это Крыло струны петь заставлял, точно гудошные под смычком?

Жогушка поупрямился, похлопал носом. Собрал зловредные ремешки. Выложил на коленку...

Больше всего Светел боялся, что сейчас из шатра выглянет мать. «Не идёт дело, сынок? Так сходи, показать попроси...»

Или сам Крыло остановится за саями, привлечённый звяканьем струн. Усмехнётся, скривится: втуне бьёшься, малец.

А то подойдут давешние позоряне. Это его, молвят, выдворили вчера? Поделом! Не способен!

«Что я, в самом деле? Боюсь, никак?»

Левое плечо, где сквозь кожу легко вылезали синие пятна, ощутило пожатие невидимой пятерни.

«Кто сказал?!»

Звигуров тын возникал за спиной всякий раз, когда он боялся.

«Сейчас-то чего?.. Не Крыла же?»

А вот чего. Выйти со двора и в рядах натолкнуться на Подсивера со Свеюшкой. Увидеть глаза, в которые вчера даже как следует не заглянул. Остаться стоять столбом, когда муж с женой отвернутся, заспешат прочь.

«Был бы Сквара здесь! Кто при нём на меня посмотрел бы. Андарх, не андарх...»

Светел сыграл песню ещё несколько раз. Сперва – по-простому, бряцаньем. Затем переборами. И наконец – как Крыло. Лихой полёт снова удался хромыми подскоками.

Спрятал гусли в чехолок, понёс в шатёр. Равдуша теплила очажок, топила снег.

– Далеко собрался, сыночек?

– В ряды пойду. На кожи взгляну. Благословишь ли?

«А ещё – за протоку, где дружина стоит...» Он боялся, что мама угадает и запечалится, но она лишь спросила:

– Жогушку поведёшь?

Светел вздел нарядный кафтан, улыбнулся:

– Занят Жогушка. Плетня ровного добивается.

Братёнок в самом деле поуспокоился, перестал ждать немедленной хвалы. Обтягивал ремешки, присматривался, расплетал. Верил: когда-нибудь начнёт получаться. Доходить своим умом и руками вдруг показалось забавней всякой игры. Даже веселей, чем гулять с братом по торгу.

У бабушкиного рундука взволнованно переминался Кайтар. Держал в одной руке Воеводу, в другой – Невесту, самую красивую на прилавке. Размахивал обеими куклами, сводил, разлучал.

– Поздорову ли, братейко! – обрадовался он Светелу. – Слыхал?

– Что слыхал?

– Личник с куклами вышел! С маньяками самодвижными! Про Владычицу рассказывает!

– Про Владычицу?

– А ещё про царей и Беду!

Ерга Корениха пронзительно взглянула на внука:

– Сходи, Светелко. Только... плащик с колпачком накинь, ветер больно холодный.

Он запнулся, вздрогнул. Слова про холодный ветер она велела ему запомнить ещё по дороге сюда.

– Строго тебя бабушка водит, – посмеялся Кайтар, пока шли. – Женить скоро, а она бережёт! Кутает, ровно Жогушку.

– Я ей Жогушка и есть, – буркнул Светел. – А женить не женят, не дамся.

– Брата искать пойдёшь?

Кругом шумели ряды. Высоко взлетали качели, раздавался девичий визг. Две немолодые бабы плыли об руку, несли горшочек пива, латку с жареным коропом – выбирать косточки за долгой беседой.

Сомнения, громоздившиеся в сумраке полого, при свете дня поблёкли, рассеялись.

– И пойду.

– Скоро ли?

– А как братёнка наторю лапки гнуть. – Подумал, сам спросил: – Личник, значит?

В Левобережье людям не велено было жаловать скоморохов, лицедеев, гудцов. Всех, кто потешает народ, отрицает Беду.

– Личник, да не из тех, – загордился Кайтар. – Послушаешь, как Владычицу славит.

Светел жадно спросил:

– Неужто в гусли играет?

Сипловатый, прихотливо подвывающий голос шувьры был слышен издалека. В самой середине рядов, где искусные ткахи хвалились одна перед другой красным товаром, стояла высокая палатка, открытая с одной стороны. Входные завесы были сшиты из лоскутков, зелёных и жёлтых. Яркие полотнища светились под угрюмыми небесами. Их широко раздвинули в стороны, подвязали толстыми шнурами, такими же яркими, разноцветными.

Внутри палатки свисала расписная полстина, которую можно было вывешивать саму по себе и брать по грошику за погляд. Каменная стена с огромным окном, за ним – безбрежный простор, солнце в синеве, белые гребни Кияна. Светел поначалу только эту занавесь и увидел. В лицо потянуло ласковым ветром, долетевшим из солнечного полдня на морском берегу. Двое малышей вновь бежали вприпрыжку широкой каменной лестницей. Навстречу плескали волны, шепчущая пена впитывалась в песок...

Едва не споткнувшись, Светел вернулся к дневным сумеркам Торожихи. Личник, одетый в тёмный балахон, держался в тени. Прижимал локтем кожаный пузырь шувьры и то надувал его через длинную трубку, то принимался говорить – громко, нараспев:

Встань
У окна со мной, моя подруга!
Глянь
На красу и свет земного круга!
Грань
Меж сном и явью в час предутренний сотри,
Когда в тумане вспыхнет первый луч зари...

Перед палаткой стояли позоряне. Тоже смотрели на расписную завесу, любовались красками давно сгоревшего дня. Светел подошёл, вытянулся, заглянул поверх чьих-то плеч.

От ноги личника тянулась прочная жилка. Она проходила сквозь тела двух больших кукол – раза в полтора крупней тех, что шила бабушка Корениха. Личник ловко двигал колесом, маньяки переминались, взмахивали руками, согласно приплясывали под гудение шувьры. Одна кукла была в длинном кружевном платье, расшитом плетениями синих цветов. У второй приминал белые кудри тонкий серебряный ободок.

Царь Аодх с царицей Аэксинэй беспечно радовались друг другу и чудесному дню, уверенные, что счастье пребудет.

Смотри, как солнце разгорается во мгле!
Наш сын растёт на этой утренней земле.
Стран
От гор до моря наречённый властелин,
И людных весей, и одетых мглой вершин,
Отрада матери, бессмертие отца,

Прямой наследник Справедливого Венца...

Светелу мешали лица, которыми зачем-то снабдил маньяков неведомый делатель. Красивые, но непохожие и неживые, с преувеличенными чертами: глаза, рты, носы... Он содрогнулся, как следует рассмотрев жилку, пронзавшую оба тряпичных тела. В груди стало тяжело и больно, словно острая спица прошла его самого.

«Мама... Отец...»

Светел затравленно метнул глазами из-под глубокого куколя. Сейчас хозяин палатки заметит его. Ткнёт пальцем: «Да вот же он!» Все станут оглядываться...

– Изрядно нарисовано, – погладил бороду седовласый гусачник. У него в левом глазу зрачок был белый, но правый глаз смотрел зорко. – Ишь солнышко горит-улыбается! Вот кончит бормотать, приценюсь. Вдруг продаст после купилища? Дома повешу, пускай внуки глядят!

Светел с облегчением понял: в кукольное действо торжане особо не вникали. И правда, на что им? Чужая, издавна враждебная страна, чужие цари... Да и сказывал личник на языке Левобережья, не вполне тожественном правильной речи.

– А внизу что? Киян-море, никак?

– Лучше бы зелёный лес врисовал.

– Мшары ягодные! Морошку!

– Эх! Морошка... Горстку бы, малым детям попробовать!

Кто-то присмотрелся:

– А вон там что обозначено? Дворня царская?

На разрисованном заднике вправду виднелись нарядные боярыни, строгие жрецы... воины в кольчугах и шлемах... Они опирались на копыя, выглядывали в окно, любовались Кияном...

– Ну, скоморошечек, уморил! Что это они у тебя окольчуженные стоят?

– Коновой Вен воевать собрались! – крикнули сзади.

– А не! – перебил задорный бабий голосок. – Только прибежали оттуда!

Кругом захохотали.

– Задорого красоту купить хочешь, друже? – спросили гусачника.

– Всё бы вам, торгованам, покупать-продавать, – прогудел кузнец Синява. – Краску разотри, да малой себе! Не хуже получится.

Гусачник недовольно ответил:

– Ты, Синявушка, всех на свой аршин мерить горазд. Ты-то у нас ко всякому художеству привычный.

– А ты взял бы да испробовал, – усмехнулся кузнец. – Может, тоже привыкнешь.

Рисованный клочок солнечного дня так завладел вниманием позорян, что перемену в палатке сопровождал разочарованный вздох. Притом что слажено на самом деле было изрядно. По ту сторону «каменного» окошка медленно поднялась новая завеса, сперва реденькая, потом всё гуще сплетённая и окрашенная. Ясную морскую даль затянула дымная пелена, подсвеченная пламенем. Царская челядь заметалась, померкла, пропала во мгле. Меховой пузырь под локтем личника задёргался, закричал, словно отнятый от мамки ягнёнок.

Гром

Божье небо в клочья разрывает.

Дом

Вместе с твердью рушится и тает.

В нём

Жила любовь, и был незыблем наш союз,

И рос наш сын, дитя священных брачных уз...

Позоряне недоверчиво качали головами, мужики пощипывали усы. Многие здесь отчётливо помнили, как внезапно, ударом сметающего вихря обрушилась наземь Беда. Она никому не дала времени проститься с любимыми, порассуждать о былом, приготовиться к будущему.

Иные торжәне вконец заскучали, начали разговаривать о своём. Кто-то даже махнул рукой, досадливо пошёл прочь, но тут же оглянулся, потому что зрители ахнули.

По незаметной жилке скользнула третья кукла. Крылатое существо взвилось между царской четой и пламенеющим задником, пропало наверху за полстиной. Отец и мать как будто взлетели следом, воздели руки...

Пушай на крыльях он несётся в вышину!
За окоём, в чужую зимнюю страну!
Льдом
И горьким пеплом всё покроеся вокруг,
Но сын умчится от погнбелн и мук,
Отрада матери, бессмертне отца,
Прямой наследник Справедлнвого Венца...

– Эй, добрый человек! – нерешнтельно оклнкнул дед Кружак. – Это кто там у тебя полетел?

Рядом прозвучал женский всхлнп. Светел выдохнул, разжал кулаки. Бабнй всхлнп повторнся. Светел повернул голову. За плечом скороплёта-корзннщика утирала глаза дородная Репка.

– Правда, кто там вспорхнул? – спроснл сосед Светела. – Ещё покажн!

– Гуснное крыло увидал, – засмеялнсь кругом.

Лнчннк ответнл надменным взглядом. Сделал движение, отпустил что-то свободной рукой... Окно, небесный пожар, морская даль – всё ссыпалось вниз, облетело жухлой лнстовой. Явллось новое художество. Багровые тучн с застывшими изломами молннй, по обнвн – чёрные зубцы леса, гнушегося под небывалым порывом. Пока лудн разглядывалн что-то вроде надпогребннцы, видневшееся впередн, лнчннк, не переставая нграть, сброснл с ногн обмякшую жнлку, подцепнл другую – н на ней снова послушно заплясалн дергунчнкн. Место царя н царнцы занялн другие мужчнна н женщнна.

Этн маньякн были очень странные. Даже смешные. Дремучнне, всклокоченные, однчалые. Баба – стыдно простоволосая, с руками, протянутыми словно за подаяннем, а одежда! Меховые шкуркн шерстью вон, как лудн не носят. Мочальные опояскн, ногн голые по колено... Царскую чету лудн узналн сразу, но этн-то кто?..

Ввысь
Уходи скорей, гонец крылатый!
Рвнсь
От земли, смятением объятай!
Мчнсь!
Вндать, царевнчу судьбой предрешено
Стать утешеннем для матери нной...

Вновь дёрнулась жнлка, проложенная отвесно. В этот раз летучее существо дало себя рассмотреть. Оно спускалось медленно, н дань н взять побаиваясь одетых в шкурн днкарей. Маленький серый волк взмахнвал утнными крыльями. Держал в зубах свёрток – спелёнатого

младенца. Коснувшись земли, небесный зверь ловко вложил свою ношу в подставленные руки женщины – и тотчас вновь пропал в вышине.

На нишем севере, где вечно темнота,
Войдёт наш мальчик в совершенные лета...

Личник запрокинул голову, в крике шувьеры смешались мука и счастье. Он не первый раз показывал своё представление, он знал, чего ждать. В Андархайне и Левобережье на этих строках бабы ревели ревмя, мужики стыдливо прятали лица. Беда, сгинувшие родители и сын, обречённый расти неведомо где! Камень и тот слезами проточится!

Дикомыты оказались напрочь лишены сострадания.

Они пялились на его кукол и... хохотали:

– Селезнёвы крылышки...

– Ой, держите меня семеро, лопну!

– С зеркальцами – уткам глядеться!

– Ты, почтенный, симуранов видел когда?

– Волк с дитятей бежал – не добежал, селезень налетел, подхватил...

– Куда понёс, вот бы знать?

– За тридевять земель, к нагим сыроядцам.

– Да где такие живут?

– Во царь вырастет!.. – захохотал дед Кружак.

Светел вздрогнул, спрятался в кукле, уши налились малиновым жаром. Это его-то новых родителей, Равдушу и Жога, представили неуклюжими мохряками? Коновой Вен – землёмой косматых уродцев?

– Может, шегардайские Ойдриговичи нынче в шкуры оделись и нам велят...

– Если так, куда им на нас ратью идти!

– Верно! С дубинками да камнем!

Личник смотрел на позорян уже не надменно, а с чёрной ненавистью. Всё же представление следовало довести до конца. Снова появились царь и царица. Возникли над облаками, благословили сына с Небес.

Снись
Своей стране, что ждёт законного царя.
Ты возвратишься, чтоб ждала она не зря,
Отрада матери, бессмертие отца,
Прямой наследник Справедливого Венца!

Бессердечные дикомыты совсем перестали слушать.

– А посередке что нагорожено?

– Мурья какая-то. Земляная лачужка.

– На север, сказано вроде? А тутоньки в землянках живут ли?

– И правда сыроядцы нагие.

– Эй, детина приезжая! Ты что нам ералашину кажешь?

– Давай снова про царя и царицу!

– Пойти, что ли, к Репке за калачами?

Кукольный водитель продолжал петь, силясь перекрыть шум:

Дитя легенды, покажись нам во плоти!
На трон завещанный взойди в конце пути!

Царь!

Ты поведёшь страну сквозь пламя, лёд и мрак,
Ты будешь знать, кто верный друг, кто лютый враг,
Отрада матери, бессмертие отца,
Прямой наследник Справедливого Венца!

Шувыра смолкла. Позади личника упала плотная завеса. Скрыла кукол, землянку, задник с горящими небесами. Полстина, сшитая из разных кусков сермяги, хмурилась непроглядными тучами. Лишь посередке угадывалась дуга разбрызганных красок. Дети помладше могли и не смекнуть, что это было такое.

Светел очнулся и обнаружил, что стоит у самой палатки личника. Он безотчётно следовал за Кайтаром сквозь редкую толпу, люто жалея, что кошель с серебром, вырученным за лыжи, больше не оттягивал пояс. Сейчас он всё как есть вывалил бы за тех начальных двух кукол. Одну в серебряном венце, другую в платье, вышитом незабудками. Вывалил без торга, не ведая ни скупости, ни сомнений. Чтобы перво-наперво выдернуть жилку, пропущенную из груди в грудь... Загладить, залечить раны на тряпичных телах...

Личник уже вышел наружу, хмурый, немолодой. Волосы прилипли ко лбу, тёмный балахон взялся пятнами у шеи и под руками. Мужчина держал перевёрнутую шапку для денег. Весёлую, ярко-зелёную в жёлтый горох.

Только щедрых наград за труды ему не досталось. Кто-то просто ушёл. Иные бросали в шапку мелкие обрубки монет. Чаще – надкусанные пряники, да этак с улыбочкой: славно посмешил, скоморошек!

Личник постепенно багровел. Видно было, как его распирало желанием по достоинству ответить глумцам, но что-то мешало.

«И правда, начни с миром ругаться, вовсе ничего не дадут, а брюхо есть просит...» У Светела было с собой немного мелких монет. Пока он соображал, как ими распорядиться: пойти купить лакомство братёнку, обидевшись за Жог с Равдушей? Наградить личника, ведь он первых родителей хоть как-то да показал? Оставить в залог, если позже согласится кукол продать? – к захоженцу бойко обратился Кайтар.

– Что же ты, почтенный Богумил, вовсе не явил нашу Владычицу? Я вот дружка нарочно привёл. Обещал показать, как мы Её славим!

Личник полыхнул прорвавшимся раздражением:

– С вами, правобережниками, поди разбери! Дорогой вот начал Ей петь за правое вразумление, прогнать посулились! Нынче, вашей простоте на потребу, мирское действо затеял, а вы опять недовольны – Владычицу представляй! Дикомыты...

– Дикомыт рядом стоит, а мы сегдинские, – нахмурился Кайтар. – Нешто не помнишь? Вместе пришли.

Богумил надменно выпятил губу:

– Думы у меня другой нет ум занять, только всех обозных мальчишек в память укладывать.

Светел потихоньку убрал пальцы от кошель.

«Жогушке сладких орехов куплю. А кукол бабушка вдвое краше сошьёт. Почему до сих пор не попросил?»

Кайтар в свои неполные шестнадцать уже был справным молодым торгованом, наученным с кем угодно разведаться без обид. Он и тут ответил скорее удивлённо:

– С поклажей пособлять небось по имени звал...

Пока Богумил набирал в грудь воздух для отповеди, Светел решился подать голос:

– Симураны...

Личник так обернулся к нему, что Светел чуть не попятился.

– Ты, значит, только и постиг, что симуран не белого пера был? Разве я о том действо показывал?

– А о чём?..

Кайтар решил всё свести к шутке, прикинулся несообразяхой:

– О том, что на Коновом Вене шубы носят мехом наружу...

– Грубые люди! – окончательно прорвало Богумила. – Не дано вам узреть в представлении душу, страсть, красоту! Вас не трогает истина высокого и печального, вы только и заметили, что шлемы не там да шубы не те!

«Не буду я его ни о чём спрашивать. Злой он...»

– Ты, личник, сам грубиян, – сказал подошедший Синява. – Почто на мальцов разорался?

– Вы тут... Да они же...

– Мы, что надо, увидели. Ты кривые гвозди куёшь. С чего мы твоему топору верить должны?

– Ты кузнец, а я личник Владычицы! Мне твой суд...

– Тут соврал – не поперхнулся, там соврал – не спотыкнулся. А мы правду великую из твоего вранья извлекай?

И никто не обратил внимания на женщину с дочками-скромницами, остановившуюся послушать, чем кончится перепалка.

Ветка рябины

Неволя вселенской зимы ещё не скрутила могучую Светынь в покорную пленницу. По слухам, верховья по-прежнему грохотали порогами, неодолимыми ни кораблю, ни маленькой лодке. В среднем течении лёд дыбился торосами: яростные воды то и дело взламывали его, нагромождая всё выше. Когда с гор Беды задували напоённые смертью ветра, из непокорных стремнин туманом восставали рати давно погибших героев. Восставали, чтобы снова рассеяться, расточиться в безнадежном бою, но не пропустить гибель на Коновой Вен.

Достигая Кияна, Светынь падала в морскую бездну. Изливалась до того неистовым током, что челюсти льдов здесь так и не сумели захлопнуться. Светынь и Киян столь крепко сомкнули объятия, что даже море отступило гораздо меньше, чем в Андархайне. В устье по-прежнему причаливали большие корабли. Только вместо оживлённого купилища с шумными рядами и всякими забавами на здешнем исаде вёлся всего один промысел, взошедший на слезах, горе и нищете. Здесь переселенцы, приведённые опасными дружинами из коренных земель Андархайны, выплачивали остаток сухопутной охране и покупали места на кораблях – плыть в далёкую, наполовину баснословную Аррантиаду.

На самом деле правый берег гораздо удобнее подходил корабельщикам. Его не достигали гремящие штормовые накаты, бухту прикрывали россыпи островов. Первоначально исад обосновался именно там, но дикомыты вскоре разогнали торговцев: «Безлепие тво- рите». Их не послушали. Следующий отряд кораблей едва не погиб. Стрелы, обмотанные куделью, летели метко, пробивали бортовые доски насквозь – и липкая смола текла ручейками, нещадно пылая.

Купцы на чём свет кляли Коновой Вен и его обитателей. Но, делать нечего, перебрались на левый берег устья. Низменный, подболоченный. К тому же временами с Кияна приходили громадные волны и катились вперёд, заливая суши на вёрсты. Поэтому ни один воевода не сел здесь на землю, не выстроил крепость. Крепость ведь не стоит сама по себе. Ей нужны деревни вокруг. А кто захочет в таком месте жить?

В беспокойную воду тянулись два длинных причала. Боевые корабли стояли рядом с торговыми – кормлёные, ухоженные скакуны, вынужденные терпеть грубую коновязь. Море, точно примериваясь, облизывало кособокие ряжи из ободранных брёвен и валунов, уродливые временные сооружения, которым никогда не стать постоянными. Следующая же большая волна разметет, искрошит в щепу срубы, камень частью закинет на сушу, частью утащит в пучину. Человеку, привыкшему всё делать тщательно и надолго, от вида подобных построек становится не по себе. Ясно же – там, где ставят такие причалы, ничего правильного и хорошего взойти просто не может...

На берегу впрямь вершили свой день горе, страх, смертные муки.

Поодаль от воды утробно мычали, захлёбывались спутанные оботуры. С одних, выпустив кровь, уже стягивали толстые косматые шкуры. Другие, обоняя смерть, истошно ревели, бились, рвались. Всё тщетно. Те самые руки, от которых быки привычно ждали корма и ободрения, в очередь пригибали им головы, заносили безжалостные ножи...

Оборотистые купцы меняли свежее мясо на вяленое и копчёное. Втридорога, кто б сомневался.

Жадные чайки кружились орущей тучей, дрались за клочки и обрезки. В них швыряли камнем, но отогнать не могли.

Шалея от запаха крови, выли, визжали, лаяли упряжные псы. В награду за верную службу хозяева отдавали их другим людям. Жестоким, непонятым, чужим. Выносливых трудяг охотно брали маяки – бродячие торгованы. Кряжистый мужик в полуторной шубе выбирал самых пушистых, особенно примеривался к хвостам:

– Изработаются в постромках, оплечью будет прикраса!

Только до страдающих пёсых глаз никому особо не было дела. Ещё чуть поодаль творился самый страшный и мучительный торг.

Там люди продавали людей.

Гул большой толпы, хлопки рукоблтия, безнадежные оклики...

А вот причал был частицей совсем иного мира. Слышался смех. Звучали радостные голоса странников, сошедшихся после долгой разлуки. Стоя на измочаленных брёвнах наката, обнимались, гулко хлопали по спинам и никак не могли оторваться один от другого двое мужчин. Два ширяя, примечательно схожие лицами и сложением. Сёнхан и Сеггар, сыновья Сенхана. Два брата.

Старший – ватаг мореходов, измеряющих своевольный Киян. Младший – воевода дружины, доставившей поезд переселенцев. Судьба распорядилась так, что этот причал, то рушимый волнами, то вновь воздвигаемый усилиями людей, был единственным местом, где братья могли встретиться и обняться.

Из палубной проруби, за которой в чреве корабля таились жилые покойчики, кладовки и даже маленький очажок, появились люди. Двое сеггаровичей, мореходы, четвёрка подростков. Отрочата с почти одинаково лыняными головами, родня родней. Только одна из сестрёнок обещала подняться надменной красавицей, другая выглядела попроще. Первый братец был полнотел, медлителен, вдумчив. Второй – насторожен, резок в движениях. Дружная четвёрка облазила боевой корабль от носового пня до кормового, от полоза до палубы. Наслушалась морских баек, одна другой заманчивей и страшнее. Без малого уплыла на разведку земель ещё дальние Аррантиады...

И конечно, выбралась на причал в самое неподходящее время.

Ветер доносил с берега многоголосый плач. Детским слезам вторили крики женицин. Проклятья мужчин.

– Это что там? – разом встревожились круглолицый мальчик и востроносая девочка. – Дядя Летень?..

Первый витязь досадливо нахмурил брови. Он-то надеялся отвлечь дружинных приёмшей, да и себя избавить от неизбежных расспросов. Не получилось.

– Выходцы должны поверстаться с двумя нашими дружинами, купить места на кораблях Сенхана, припасы в дорогу, – пояснил он неохотно. – Похоже, босомыки исторговали всё, что только могли, но этого не хватило. Теперь семьи продают детей, чтобы остальные могли поискать удачи за морем.

– Кощеи, – как ругательство, бросил мореход, приземистый подле рослого Летеня. – Не жаль мне их. Сами дети трусов и таких же плодят!

– А что вон там? – вытянул руку Эрелис.

На голом берегу виднелось подобие одиноких ворот, наспех связанных из жердей. К ним тянулась шаткая людская вереница. Перепуганные мальши, цепляющиеся друг за дружку. Старшие дети, матери, отцы...

– Это иго, – сказал синеглазый Крыло. Он всем на радость играл под корабельные побасенки, теперь прятал гусли от морской сырости в короб. – Цари Андархайны придумали ставить его для унижения врагов, взятых в битве. Прошедший под игом – не просто пленник, он раб.

По ту сторону врат неволи суетились покупщики. Оглядывали плачущий товар. Спорили, деловито назначали заторжнюю цену. Кто бы сомневался, ничтожную. Торговались, били по рукам. Детей серенькими гурьбами вели прочь. Немногих беглецов ловили, с колотушками возвращали. Приученные к покорности, мальши сопротивлялись недолго. Семьяне, получив скудную плату, плелись обратно к палаткам.

– Дядя Потыка идёт, – сказала Нерыжень.

– Это нашу плату сейчас выкупают? – тихо спросила царица Эльбиз.

Летень покачал головой:

– Нет ещё. Там присматривать надо, а Сеггар хочет с братом наговориться.

Потыка Коготок широким шагом вошёл с берега на причал. Весёлый, сильный, красивый. Молодой орёл, расправляющий крылья покинуть Сеггарово гнездо. Готовый лететь опричным путём, во главе стайки таких же юных, лёгких, бесстрашных.

За Потыкой, будто собачонка на привязи, бежала девчушка лет десяти. Худенькая, неухоженная, чумахая, как все кощейские дети. Спешила, путалась в безобразной рубашонке на вырост.

Царевич и царица переглянулись. По обыкновению, поняли друг дружку без слов. Эльбиз запустила пальцы в ворот меховой безрукавки, начала вытягивать тонкий ремешок. Взявшись за руки, брат с сестрой пошли к трём вожням. Заменки сразу двинулись следом. Летень поверх голов посмотрел на Крыла. Гусяр недоумённо передёрнул плечами.

– Служку надумали задёшево взять... – вполголоса предположил корабельщик.

– Вот! Из-под ига принял, в часть платы, – хвастался покупкой Коготок. Его глаза искрились цветным бисером, карим да синим. – Баяли, нетронутая, хотя кто их знает, кощеев! Пусть пока порты зашивает и рыбу на привалах стружит, а коли выживет с нами да хороша вырастет... поглядим. Может, суложью своей сделаю. Слыхала, дурёха?

И протянул руку по голове потрепать.

У неё торчали во все стороны тусклые спутанные вихры. Отмыть, вычесать – лягут тёмно-бронзовыми густыми волнами. Под тяжёлой пятернёй маленькая невольница съёжилась, как птица в руке ловца. Сломалась тростинкой, шлёпнулась на колени, от страха не поняв ни слова из сказанного.

– Добрый господин...

– В тех санях вроде ещё младшие были, – медленно проговорил Летень.

Потыка отмахнулся:

– На что мне мальшняя? Их другой покупатель увёл.

Девочка оглядывалась, не знала, на кого смотреть, всхлипывала, зубы стучали.

– Как звать тебя, дитячко? – спросил Сеггар. В грубом голосе звучала неумелая жалость.

– Добрый господин... эту рабыню... эту рабыню...

– Юла её зовут, – сказал Летень. – Жаворонок по-нашему.

– Дядя Сеггар, – подала голос Эльбиз.

Все повернулись. Брат и сестра стояли, тесно сплотившись. Одно существо о двух головах. Царица протягивала на ладони кожаный потёртый мешочек, вынутый из-под одежды.

– Ещё что придумала? – помолчав, подозрительно спросил Неуступ.

Эльбиз сглотнула.

– Когда дядя Космохвост понял, что могут напасть, он велел нам из родительского ларца... выбрать по нещечку, носить подле тела... мало ли что...

Она распутала ремешок. В пасмурном свете замерцала серебряной чернью веточка рябины. Зелёная финифть листков, ягоды – жаркие самограннички солнечно-алого камня. Таких прикрас уже не делали после Беды.

– Ого, – присвистнул Сенхан.

Старинная запонка годилась в праздничную сряду царицы. А стояла явно побольше его знаменосного корабля.

– Братец Аро носит перстень отца, но лучшие ведь булавку потратить, правда? – заглядывала в глаза царица. – Дядя Сеггар, вот, ты возьми... В плату...

– И перстень, если не хватит, – разжал губы молчаливый царевич.

Двое сирот стояли перед могучими воеводами, протягивая последнее, что им осталось от матери и отца.

В лице Сеггара, малоподвижном от шрамов, ни дать ни взять что-то сломалось. Он отвернулся. Хрипло, через плечо, бросил Летению:

– Ступай. Свергни иго.

Повторять не занудилось. Первый витязь устремился с причала таким шагом, что взвился плащ за спиной. Едва сойдя на берег – воздел руку, крикнул. Людская вереница сразу остановилась. Обезнадёженные торговцы взялись было возражать, но куда с витязем спорить. Рабские ворота качнулись. Рухнули, знаменуя окончание торга. Летения обступили ничего не понимающие кощии.

– Гадают небось, как им столько детворы прокормить, – предположил корабельщик.

– Сам на что жить собираешься? – спросил Сенхан.

Неуступ буркнул так же хрипло:

– Задаток лежит. Не весь ещё пропили.

– Люди станут смеяться. Храбрецы один другого краше, а парчового плаща даже у тебя нет.

– Моя дружина не парчовыми плащами славна. А чтобы за кулачество хвалить, у людей Ялмак есть.

Эрелис переглянулся с Эльбиз. Оба, неведомо почему, чувствовали себя виновными.

– Дядя Сеггар...

– Вы, там! – зарычал воевода. – Живо всё спрятали, пока чайки не унесли! Ещё увижу, подзатыльников надаю!

Вечером, в сумерках, железный корабельный очажок вынесли на причал. Сеггаровичи с мореходами уселись вокруг, а Крыло взялся за гусли.

То не горные скалы в движение пришли,
Вековые корни подняв из земли!
Не созвездья полночные строятся в ряд,
Золочёные брони как пламя горят!
А не сизая туча с грозой и дождём –
То дружина шагает за гордым вождём!
«Кто ты, витязь, куда своё знамя несёшь?
За какую награду сражаться идёшь?»
«Нам стезю указывает о помощи зов.
Наша правда – рубцами на ликах щитов.
За бесскверное имя – всей силой вперёд,
А мирская добыча – уж как повезёт.
Что добуду мечом – не себе одному,
Побратимам отдам и вождю своему.
Да прославится знамя, ведущее рать!
Нам под ним побеждать. За него умирать.
Щит к щиту – неприступная встала стена!
Да украсятся братьев моих имена!
Пусть на равных звучат и на равных слывут,
Потому что воители в братстве живут!»

Витязи

– Значит, говоришь, воины подвалили, – проворчал Светел.

Кайтар улыбнулся:

– А то! Ялмаковичи! Наши, кто девок привёз, уже по шатрам всех попрятали.

– Почему?

– Так пелятся, дурёхи. А те и рады. Один Крыло...

Вот гусяра не надо было даром поминать. Светел сразу помрачнел, плотнее натянул куколь, вспомнил, что, вообще-то, ему к дружинным пока идти незачем. Ну разве издали посмотреть.

Ага, на Крыла напороться. Чтобы тот опять показал, кто на купилище гусяр.

Светелу хотелось и не хотелось идти туда, где под низким туманом виднелись недавно поставленные палатки. Ноги сами замедляли шаг, глаза метались по сторонам, искали повода зацепиться.

– А что тебе витязи? – любопытно спросил Кайтар. – Ты же не уходишь пока?

Светел ответил прямым словом:

– Так просто. Поглядеть.

Между тем на краю зеленца хватало своих развлечений. Может, не таких ярких и шумных, как посередке, но чем уж богаты. Калашники бойко торговали с рундуков и вразнос, ревновали, чьи калачи лучше. Витые, плетёные? Кармашками, как у Репки?

– Налетай, народ!

– Ойдриговичи ели, животы заболели, а нам как раз, покупай у нас!

Ещё кто-то удосужился наморозить ледяных глыб, сплотить их в этакую лохань пяти шагов в поперечнике. Наполнили до края водой, пустили плавать толстых скользких линей.

– Торопись, люд мимохожий! Кто рыбку выхватит, подарок любушке унесёт!

Светел придержал шаг. У ледяного пруда было не протолкнуться. Ребята красовались перед девчонками, ревновали друг дружку. Лини, позабывшие обык тихих прудов, метались, прыгали, припадали ко дну. Вот упустил слизистую рыбину Зарник. Девки с визгом отворачивались от брызг, парни тешились, смеясь чужой неудаче. Вот явился взрослый дядька, опрокинувший лишний жбан пива. Рожа красней красного, взгляд бестолковый. Этот не мелочился. Перелез высокую окраину, пошёл туда-сюда вброд. Оskalъзывался, загребал расставленными руками. Грязнуло веселье.

Светел тоже решил испытать ловкость. Вгляделся в плещущий холод. Даже рукав начал закатывать – левый. Спohватился, взялся за правый.

...Крики за спиной, стук и гром! Светел с Кайтаром вмиг забыли рыбную ловлю, бросились смотреть за шатры. Следом подоспел Зарник.

Там, оказывается, творилась всем забавам забава. Светел увидел широкую площадку, огороженную подтаявшим снеговым валом. На перекладине раскачивался бочонок, внутри голосил живой селезень. Охотники в очередь становились к черте. Принимали на глаза глухую повязку. Брли в руку топор. И – на слух, по наитию метали в бочонок!

Кто разобьёт, кто выпустит селезня, тому будет награда.

Прилюдный поцелуй души-девицы.

Светел сразу нашёл взглядом славёнушку, усаженную на престол из запасных бочонков. Ох, хороша! Нарядная, щёки от волнения то вспыхивают, то гаснут. Вороная коса, повитая синей лентой. Своевольная прядь, выбившаяся пружинкой на лоб... Светел вроде уже видел девчонку. Мельком, на палаточной улице. Только тогда она не показалась ему даже вполонину такой красивой, как ныне.

Всё прочь! Корзины, лапти, сравнения гусяров, пруд со скользкими линиями! Вот истинный дар, достойный борьбы!

Это не с чужой бабой под личиной мужское дело вершить...

Светел увидел Гарку, внука твёржинского большака. Гарко вышел к охотникам, сунулся в череду.

– Молоко утри, – погнали его взрослые парни.

– За ухоями целуйся, пока мамка не видит!

Кайтар, Светел и Зарник молча подступили, расправили плечи. Злословы примолкли, отвернули головы смотреть, как прокидывались топорами другие. Бочонок прыгал, вращался. Посечённый, но не нарушенный.

Впереди друзей у черты оставался всего один человек. Всякий на Коновом Вене метко бросит топор. Светел лучше многих, пожалуй. Вот сейчас он примет повязку. Отведёт руку... прислушается...

Из-за шатров неспешно вышли трое мужчин.

Светел мельком глянул на них... Вмиг забыл состязание и душу-девицу. Забыл руку опустить, протянутую к топору. Смех и голоса отдалились, умолкли. На свете существовали только три чужака. Явно не торгованы, не гости.

Ялмаковичи!..

Один шёл чуть впереди. Пышная борода на две стороны. Волчья безрукавка, распахнутая в посрамление холоду... Как так получается? Человек ничего особенного не творит, а ты нутром чувствуешь в нём страшную силу. Лютую, хищную, стремительную. Неужто сам Ялмак? Лишень-Раз?..

У второго левая скула выглядела словно бы вмятой и выправленной, но не очень добротно.

Третий был Крыло.

Железная дружина пришла гулять на купилище.

Ялмак с одного взгляда понял суть забавы. Усмехнулся, шагнул к черте. Для него не существовало вереницы охотников, Светела с друзьями. У таких людей своё высшее право, им ли всякую мелюзгу замечать. Коновод протянул повязку. Ялмак отрёкся презрительно:

– Тех повивай, кто без чести подглядывает.

Голос был низкий, размеренный, глуховатый. Воевода закрыл глаза, взял топор:

– Ярн-яр!

И метнул.

Если Светел ещё не всё понял про этого человека, бросок ему досказал. Рука Ялмака словно простёрлась вперёд на все двадцать шагов. Рубанула бочонок. Так люди растинают на колоде полено.

Брызнули окровавленные дощечки. Пущенное лезвие даже не ощутило помехи. Спорхнули наземь утиные крылышки. Блеснули синими зеркальцами, упали врозь: левое с шеей, правое с гузкой. К ногам души-девки подкатился уцелевший обруч. Покрутился. Упал.

Ещё несколько мгновений прошло в тишине. Люди с усилием постигали увиденное. То, в чём состязались природные лесомыки, захожий воин проделал, как верёвочку завязал. Да не прихотью рокового везения. Не удачей слепой.

Потом все как-то разом вдохнули.

Уши заложило от крика, свиста, хлопков.

Ялмаку дела не было до рвавших глотки торжан. Не такое, поди, слышал. Он поглядывал на престол, застланный меховыми плащами. Там как будто ждало его лакомство, неожиданное, мимолётное... но не упускать же?

Девка меж тем струсила. Чаяла ровнюшке пригожему губы подставить, а тут – суровый чужак! Заметалась, жалко поджала ножки в вырезных башмачках, словно от внезапной стужи

спасаясь. Поискала в толпе готовых вступиться семьян, не нашла. Беспомощно зацепилась взглядом за Светела.

Опёнок чуть не ринулся к черте. Завладеть топором! Всем напомнить, что состязание не окончено!..

Заробел, остался на месте. Кто послушает юнца, кто поверит, будто возможно перебить бросок Ялмака? «А вдруг впрямь осрамлюсь...»

Воевода кивнул Мятёй Роже. Верный кметь сходил и вернулся, ведя чернокосую. Вестимо, не силком приволок. Сама шла. От уговора пятить ну никак не рука.

Ещё шаг – под общий хохот девка исчезла в распахнутом плаще Ялмака, в его гнедой бородине. Вот как берут своё вольные воеводы, не обязанные ни царям, ни вечу общинному! Тут тебе, дурёха, не увалень деревенский, сам робеющий до дрожи в коленках. Другим шалуньям урок!

Позоряне помалу оставили хохотать. Переминались, роптали...

Ялмак меру знал. Выпрямился, отпустил. Зарёванная девка бросилась прочь. Покинула синюю ленту у Мятёй Рожи в руке. Полетела растрёпанной птахой, не чуя ног.

Туда полетела, где заступники померещились.

Светел подхватил её, убрал за себя, передал с рук на руки Гарке.

Пожалел, что не добрался до топора.

Представил, насколько смешон бы стоял.

Ну а Ялмак со своими без спешки двинулся гулять по купилищу дальше. Себя в людях похвалять, товары смотреть... забав новых приискивать...

На широкой площадке витязям понадобилось пройти именно там, где стояли ребята.

Не заметили со своей высоты, как прежде череду состязателей? Вздумали почтению научить? Светелу было равно. За спиной встал забор Житой Ростоци. Навстречу шёл Лихарь, по-прежнему огромный, страшный, уверенный. Не ждущий, что серый от ужаса десятилетка распрямится нынешним Светелом. «Других пугай, не меня!»

А ведь собьёт, шептало что-то внутри. Перешагнёт и пойдёт. «А плевать! Сам рядом не ляг!» Светел чувствовал дыхание Кайтара, Зарника, Гарки. Всё ближе видел прищур Ялмака. Воевода дёрнул волосок из меховой безрукавки. Сдул с пальца...

Крыло вдруг прынул вперёд. Подоспел к Светелу.

– погоди! Это ты, что ли? – удивился он чуть громче потребного. – Ты, говорю, у плетуханов в гусли брэнчал?

Опёнок выдохнул, на плечи словно мокрый войлок свалился.

– Ну я...

– А я второй день тебя повсюду ищу, – продолжал Крыло. – Показать хочу наконец, как гусли на колено кладут.

Ялмак остановился. Что-то сказал Мятёй Роже. Отвернул мимо.

Крыло сгрёб Светела за руку, потащил за собой. Прочь от ристалища, от кровавых щепок и своих братьев по дружине.

– Ты на кого, олух, попёр?

Крыло и Светел стояли за торговым шатром. Внутри бойко продавали рогожи, далеко славившие Затресье. Простые и натянутые на обечайки, чтобы сеять муку. Сшитые в накидки от снега. Стачаные в опрятные кули для хозяйства.

«Ну... на Ялмака», – хотел буркнуть Опёнок, но счёл за лучшее промолчать. Он вправду чувствовал себя дурнем, только не знал отчего.

– Тебе, смотрю, жить вовсе наскучило, – как-то устало продолжал гусяр. – В заглушьё своём страха не ведал?

Светел оцетинился:

– Твой Ялмак, знать, всех в свете страхов страшнее!

Крыло даже глаза закатил. Синие-синие, глупым девкам на бессонные ночные заботы.

– Ты, гвоздь ершёный, по которой весне?

Светел на всякий случай грозно свёл брови:

– По шестнадцатой...

– Вот это и видно. – Гуслиар вновь глянул прямо, вздохнул, задумался. – Может, и не надо тебе знать, какие на свете люди бывают.

– Какие?

– Ялмак тебя, сопляка, жить оставил. И других оставлял, я сам видел. Сколько раз ждал: шею свернёт! А он – отпустил. Посмеётся, рукой махнёт да забудет. А завтра ему точно шилом в гузно, и не угадаешь. На ровном месте, ни за что. Я вот сколько с ним хожу...

Светел и так уже понял, какая лавина мимо прошла. Но не то было главное, что жив увернулся. Он сам себя чувствовал душой-девкой, чаявшей поцелуя. Тошно вспомнить, как захлёбывался тревожным восторгом: подвиг ратный, братство геройское! Дружину себе выбирал. Воевод сравнивал.

Он скривил губы:

– Ой, напугал.

Крыло безнадежно посмотрел на него. Отвернулся.

– Ты, дикомыт, ещё глупей, чем я думал. Беги к мамке, о чём с тобой рассуждать.

– Сам чего ради с Ялмаком держишься? Не боишься?

Крыло пожал плечами. В расписном чехле тихо отозвались струны.

– Я-то загусельщик. Меня всякий воевода приветить рад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.